

*А. Устинов, И. Лоцилов*

## ПЕСНИ И ЛЕГЕНДЫ БУДЕТЛЯНСКОГО СКИФСТВА: НИКОЛАЙ АСЕЕВ В ЖУРНАЛЕ «ПРОТАЛИНКА»

Статья посвящена публикациям поэта Николая Асеева (1889–1963) в детском журнале «Проталинка» 1914–1915 гг.: пересказам для детей русских и польских летописей. Работа Асеева в журнале «Проталинка» связана с его отходом от поэтики символизма и переходом к футуризму под влиянием поэзии В. Хлебникова. В статье воссозданы литературные и биографические обстоятельства сотрудничества Асеева в этом журнале. Показана связь детской прозы Асеева с его поэтическим творчеством этого времени. Хронология публикаций в детском журнале показывает литературное развитие Асеева. Пересказы, включавшие поэтические фрагменты, были литературным экспериментом, похожим на детские сочинения писателей советского времени.

*Ключевые слова:* детская литература, периодика для детей, Николай Асеев, символизм, футуризм, история литературы XX в., «Центрифуга», бюджетлянство, Сергей Бобров, пересказы.

Не спасти худым ковалям  
Стольный Град.  
Нынче ночью  
зацелуем  
ваших лад.

*Ник. Асеев (1914)*

Детский журнал «Проталинка» начал выходить в начале 1914 г. под редакцией поэта и переводчика Александра Петровича Печковского (1882?–1944), в прошлом — участника кружка «Аргонавты», организованного Андреем Белым из его товарищей по Московскому университету, среди которых был и обучавшийся на факультете химии Печковский. История этого сообщества со всей тщательностью восстановлена А. В. Лавровым:

Организационно кружок никак оформлен не был, никакой конкретной программы — идейной, творческой, издательской — не выдвигал и тем самым оставался как бы вне литературного процесса или на его далекой, едва различимой периферии; во всяком случае, в печать изве-

ствия о его существовании тогда не проникали. Даже точно установить число его участников оказывается затруднительным. Ядро сообщества составляли Андрей Белый и его друзья — молодые люди (в основном товарищи по университету), способствовавшие созданию «аргонавтического» мифа. <...> В то же время, как утверждает Белый, «в “аргонавтах” ходил тот, кто становился нам близок, часто и не подозревая, что он “аргонавт” <...>». «Своим» считали «аргонавты» и Блока, поэзия которого, наравне с творчеством Андрея Белого, была основным резервуаром их мифотворческих представлений [Лавров, 1978, с. 139].

В «Материале к биографии (интимном)» Белый упоминает его среди своих близких знакомых уже в 1901 г.: «...в университете я все более сходил с моим гимназическим товарищем В. В. Владимировым; около него группировались Печковский и С. Л. Иванов» [Там же, с. 138]. Позже он посвятит ему стихотворение «Уж этот сон мне снился...», вошедшее в его книгу «Золото в лазури» (М., 1904) [Белый, 2006, с. 143–144].

Еще через несколько лет Белый будет рассматривать Печковского среди потенциальных авторов кружкового «Журнала», которому предстояло занять место других изданий московских символистов, чтобы составить конкуренцию петербургскому «Аполлону». «“Весы” кончаются, “Руно” кончается, в Петербурге усиливается “Аполлон”, так что если мы год просрочим, будет поздно, — пишет Белый Эмилию Метнеру на исходе августа 1909 г. — Спасибо, спасибо, милый: журнал — да будет. Уже не отступайте, Эмилий Карлович. В несколько дней мы уже многое сделали»<sup>1</sup>.

Значительную часть этого письма составляет «случайно набросанный список сотрудников». Печковский фигурирует здесь в разделе «Поэты, рецензенты, справочное бюро, нужные люди» вместе с Владиславом Ходасевичем, Семеном Рубановичем, Виктором Гофманом, Николаем Гумилевым, Александром Кондратьевым и другими [Андрей Белый и Эмилий Метнер, 2017, с. 437]. Кроме них в этом списке также числятся заявленные среди ведущих участников будущей «Проталинки» поэт Николай Мешков (1885–1947) и критик Витольд Ахрамович (1882–1930). Впрочем, планам Белого и Метнера не дано было осуществиться: издание не состоялось, их кружок прекратил свое существование, а петербургская версия модернизма, представленная на страницах «Аполлона», одержала победу.

«Проталинка» оказалась более успешным начинанием. Печковский подошел к выпуску журнала с уверенным замыслом и четкой



Проталинка. 1914. № 11. Обложка  
А. М. Уречина

издательской программой. Такое прагматическое отношение к делу способствовало реализации его редакторских намерений из номера в номер. В своей истории русской детской литературы Бен Хеллман удачно представил<sup>2</sup> основное направление деятельности журнала и круг его авторов:

«Проталинка» (1914–1917) предназначалась для детей от десяти до двенадцати лет. Редактор Александр Печковский (годы жизни неизвестны) был одним из «аргонавтов» в окружении символиста Андрея Белого. Его особенно интересовали русский фольклор и народная культура. В статье «Несколько слов о заставках “Проталинки”» Печковский объяснил, почему журнал печатал изображения русских народных игрушек, когда его читатели, в основном городские дети, играли заводными автомобилями. Печковский почитал своим долгом любить «красоту родной земли» во время, когда истинное русское народное искусство находилось на грани исчезновения. Согласно этим принципам, «Проталинка» публиковала и народные сказки, и русские поговорки, но с современными иллюстрациями. В 1914 году в приложении к журналу появился финский эпос «Калевала» с рисунками Аксели Галлен-Каллела, а в 1916 году «Проталинка» отдельным томом опубликовала «Народные русские легенды» Афанасьева в переложениях для детей. Во время войны журнал занимал панславянские позиции.

Не удивительно, что молодой крестьянский поэт Сергей Есенин потянулся к журналу Печковского. Его стихотворение «Молитва матери» (1914) напрямую связано с войной. <...> Другим новым именем в журнале был Николай Асеев (1889–1963) — молодой футурист, который интересовался историей и народными легендами. Первая публикация знаменитейшего советского писателя-фантаста Александра Беля-

ева, пьеса-сказка «Бабушка Мойра» появилась именно в «Проталинке» в 1914 году. Проза Серафимовича, песня, написанная Бальмонтом, стихотворения Льва Зилова, статья о Георге Фридрихе Генделе, а также комиксы («веселые картинки») тоже были представлены в журнале [Хеллман, 2016, с. 257–258].

Предоставив этим начинающим прозаикам печатную площадку, журнал Печковского сыграл решающую роль в их литературном становлении. В этом смысле его значение сопоставимо с тем, какое имел для поэтов-дебютантов журнал «Весна» Николая Шебуева, где впервые выступил и Николай Асеев. В отличие от «Проталинки», среди авторов которой он появился, уже получив некоторое литературное признание как участник московского философско-художественного кружка «Лирика» и одноименного кружкового альманаха<sup>3</sup>, — его путь в «Весну» был непростым.

Напечататься у Шебуева удалось не сразу: Асеев дважды получал отказы, зарегистрированные в печальном разделе «Почтовый ящик редакции»<sup>4</sup>. Зато его дебют на страницах «Весны» был достаточно эффектным: в № 19 Асееву удалось опубликовать даже не одно, а два стихотворения — «Весна» («Лужи мутные сверкают вешней яркостью полны...») и «Лунно-янтарным туманом также наш сад обовьется...» [Весна. 1911. № 19. С. 8], и сразу же в следующем выпуске еще одно — «Мимолетное» («Мы были пьяны все; безудержной волною...») [Весна. 1911. № 20. С. 8]<sup>5</sup>. В № 24 он также выступил с поэтическим диптихом «Провинция»<sup>6</sup>, не вошедшим ни в один его сборник.

В редакции «Весны» также состоялось решающее для литературной биографии Асеева знакомство с Сергеем Бобровым. Последний вспоминал в «Записках о прошлом», как заметил «славного молодого человека, светлого блондина с яркими и прозрачно-ясными глазами», чей «пристальный взгляд был так попросту чист и внимателен», и «сразу понял: это друг, это *единомышленник!*» <курсив в оригинале. — А. У., И. Л.>. «Стали расходиться, — продолжает Бобров, — и мой юноша подошел прямо ко мне с протянутой рукой. “Моя фамилия — Асеев...” — скромно произнес он. А я кивнул, обрадовавшись, ибо я эту фамилию заметил среди массы стихов в “Весне”. “Я вам верю, — сказал он, — давайте пойдем вместе...” И мы вышли» [Бобров, 1980, с. 8–9].

Когда Асеев приехал в Москву в январе 1913 г. и остановился у Боброва, тот отвел его к Юлиану Анисимову и Вере Станевич, на квартире которых устраивались собрания кружка «Лирика».

Один из его участников запомнил «худого и бледного юношу в студенческой тужурке, не весьма уверенного в себе», однако оставившего сильное впечатление своими стихами: «Асеев прочитал нам свою “Ночную флейту” — первую прелестную книгу юношеских стихов. Мы тотчас пришли в восторг — изящество и грация стиха, подлинный, как мне казалось, романтизм, гармоничность композиции — все доказывало настоящий вкус и дарование. Несколько стихотворений из “Ночной флейты” были напечатаны в альманахе “Лирики” и явились несомненным украшением этой странной, разнокалиберной книги» [Локс, 1993, с. 77].

«Ночная Флейта» Асеева вышла целиком стараниями Боброва: он собрал и отредактировал стихи, расставил эпитафии из французского романтика Алоизиуса Бертрана, написал предисловие, позаботился об оформлении и нарисовал обложку. В предисловии, представляющем по сути манифест «нового» символизма, заявленного как неотъемлемая часть общеевропейского модернизма, Бобров безжалостно развенчивал новоявленный акмеизм, причисляя Анну Ахматову и Сергея Городецкого к разряду эпигонов. Об Асееве же там сказано было совсем немного и совсем в другой тональности. Наверное, именно по этой причине неожиданно одобрительные строки Боброва о молодом поэте целиком вынесены в примечание к предисловию:

Каковы его интимные устремленья? Может быть, лучше всего привести теперь маленькую французскую песенку:

Au clair de la lune,  
Mon ami Pierrot,  
Prête moi ta plume  
Pour écrire un mot.

И путеводительница Лирика одолжила Асееву свое самое нежное перышко — из стрекозиных блесток и золотых отблесков... а кто не хочет слушать — пусть сидит дома и высиживает скуку [Асеев, 1914, с. 5].

Такой подход к изданию и представлению книги своего сотоварища Бобров позаимствовал у французских символистов. В свою очередь, Асеев написал дружественное предисловие к «Близнецу в тучах» Бориса Пастернака, несмотря на возражения, о которых Пастернак полгода спустя вспоминал в письме к приятелю:

Ты знаешь историю предисловия к «Близнецу»? От меня требовали собственного. Я отказал. Полемические мотивы «Лирики»



(тогда она была органом Боброва) делали предисловие в его глазах чем-то существеннейшим в книге. Стихотворения считал он какою-то иллюстрацией к схватке с символистами («Сл<он> и Моська») — каким-то антрактом с прохладительным, когда сменяются тореадоры. Тогда, даже не затребовавши от меня стихов, предисловие написал Асеев — я всячески от него отбояривался — его положение казалось мне ответственным; на это он ответил мне подозрением: он заподозрил меня в том, что я недоволен его предисловием; и вот, чтобы его сомнения рассеять, я сдал предисловие в типографию [Пастернак, 2005, с. 176].

Разумеется, Бобров принял непосредственное участие в подготовке и этой книги и, как следует из того же письма, дал ей более подходящее заглавие: «“Близнец в тучах” — только отделка заглавия — дело рук Боброва. — Еще в пивной у почтамта я читал тебе вещь, которая по тому чувству, которое я с нею связал, имела стать величиной собирательно-циклической. “Близнец за тучею” — назвал я этот цикл. “Близнец в тучах” — как имя книги — вот все, что оставалось сделать находчивому Боброву» [Там же, с. 177].

Реакция на «Ночную Флейту» была именно такой, как рассчитывал Бобров. Ее было невозможно приписать к какому-то одному поэтическому направлению. Скорее, она была написана как книга между уже отходившим символизмом и набиравшим силу футуризмом. Именно в таком ключе о ней высказался Валерий Брюсов в своем капитальном обзоре «Год русской поэзии. Апрель 1913–апрель 1914 г.», по большей части посвященном футуристическим изданиям и описывавшем траекторию новой русской поэзии от Ф. Т. Маринетти к эго- и кубофутуристам:

Менее эклектичен Н. Асеев. С манерой Боброва его близит пристрастие к славянизмам («хлады», «зане», «выспренное слово», «ветром исполнит путь»), отличает от нее — легкий налет народности. Футуризм в стихах Н. Асеева сказывается выбором тем и образов (здесь и «черный гаммонд», и «ротации», и «телефон», и «бульварный вальс», и «знак Фаренгейта»), отдельными выражениями и неологизмами («звэркал», «верьеры неба», «звезды стали в витражи», «обветшалый горизонт») и свободным обращением с ритмом. В общем же, сколько можно судить по маленькой книжке, Н. Асеев — поэт, еще переживающий «романтическую» эпоху, пишущий немного в духе А. Блока, немного в духе Н. Гумилева и пока слишком склонный к дешевым украшениям стиха, будь то «тигры острова Явы» и «тень кавалера Глука» или исхищеннейшие рифмы, не всегда созвучные, как «кратер — император» или «прожектор — Гектор».

Наиболее самобытен Б. Пастернак. Это еще не значит, что его стихи — хороши или безусловно лучше, чем стихи его товарищей. С. Бобров и Н. Асеев, во всяком случае, показывают значительное мастерство техники; Б. Пастернак, напротив, со стихом справляется плохо; ритмы его однообразны, а «смелости» сводятся к двум-трем повторяющимся приемам [Брюсов, 1990, с. 442–443].

Брюсов отозвался на «Ночную Флейту», как и на «Вертоградней над лозами» Боброва и «Близнеца в тучах», в контексте обсуждения книжной продукции издательства «Центрифуга», противопоставляя новые сборники этих трех поэтов их прежним выступлениям в «Лирике»:

Пока кружок был еще единым, он издал альманах стихов «Лирика», сборники стихов С. Боброва, Б. Пастернака, Н. Асеева и несколько других книжек. Хотя эти названия нигде не были названы футуристическими, однако на их участниках, особенно на трех названных нами, влияние футуристических идей было несомненно; позднее, образовав ядро «Центрифуги», они в своем новом альманахе уже открыто признали себя футуристами [Там же, с. 441].

«В те времена, — рассказывал потом Бобров, по инициативе которого была учреждена эта литературная группировка, — обратить на себя внимание можно было только громким скандальным выступлением. В этом соревновались» [Пастернак, 1989, с. 204]. Его выпад против «Лирики» прозвучал достаточно громко: 22 января 1914 г. Бобров разослал участникам кружка петицию «Временного экстраординарного комитета “Центрифуга”» за подписями «ядра» нового объединения: Асеева, Пастернака и своей. Именно так была заявлена приверженность «Центрифуги» футуризму за несколько месяцев до выхода группового альманаха «Руконог».

История «Центрифуги» хорошо известна и детально описана в соответствующих работах (см.: [Флейшман, 2006]). Бобров стал «вожатым», как и намеревался все эти годы, учредив строгую групповую дисциплину. Пастернак почти беспрекословно следовал за ним, но потом охладил к его практике тотальной литературной борьбы. Асеев примкнул к «Центрифуге» из преданности Боброву, помимо того разочаровавшись в новых философских установках «Лирики», которые воспринял как «смесь доморощенной теософии и сентиментально-грубого славянофильства» [Пастернак, 1989, с. 193]. Казалось бы, групповая солидарность и их близкие отношения<sup>7</sup> должны были способствовать упрочению положения Асеева

в «Центрифуге», однако он категорически самоустранился от всех баталий, иницируемых Бобровым.

Тогда же, весной 1914 г., начинается сотрудничество Асеева с «Проталинкой»<sup>8</sup>. То обстоятельство, что Асеев был зачислен Бобровым в радикальную футуристическую группировку, на его отношения с журналом Печковского никак не отразилось. Напротив, Асеев использовал эту возможность, чтобы осуществить свои индивидуальные литературные цели, в личном плане — отказ от групповых выступлений «Центрифуги», а в поэтическом — преодоление символизма.

Если в первом случае Асеев просто уехал из Москвы, разумно предположив, что это — единственный способ выйти из-под опеки Боброва, то решение второй задачи потребовало пересмотра литературных приоритетов. Впоследствии он признавал, что начинал как «выученик символистов, отталкивавшийся от них, как ребенок отталкивается от стены, держась за которую он учится ходить; <...> увлекавшийся переводами Маллармэ и Верлена и Вьеле Гриффэна, благоговейный перед Теодором Амедеем<sup>9</sup> Гофманом» [Асеев, 1930, с. 175–176]. Однако смена поэтической парадигмы потребовала отказа от прежних предпочтений.

В своем отклике на «Ночную Флейту» Брюсов справедливо отметил «легкий налет народности» в стиховой манере автора. Вероятно, такое «пристрастие к славянизмам» имело решающее значение, когда Асеев определялся с направлением собственной работы для «Проталинки»: в качестве литературного эксперимента он решил выступить на страницах журнала «для детского возраста» в роли сказителя древнескандинавских и старославянских легенд и преданий. Безусловным достижением Асеева в этом жанре стала изданная в его пересказе и с его предисловием «Калевала», которая вышла приложением к «Проталинке» [Калевала, 1915].

Уже первое выступление Асеева в апрельском выпуске за 1914 г. предполагало, что его сотрудничество с журналом не станет единственным: асеевская новелла «Подзвонок» была напечатана с подзаголовком «Из рассказов о “лихих годах”», подразумевающим цикл, и с соответствующим примечанием: «Ряд этих рассказов замышлен автором. Настоящий — относится к эпохе смутного времени (осада Т<роице->С<ергиевой> Лавры)»<sup>10</sup>. Рассказ был оформлен Михаилом Яковлевым (1880–1942), у которого был опыт работы иллюстратором, преимущественно в сатирических журналах «Маски», «Зритель» и других. Работа Асеева в дуэте с художником



соответствовала редакционным устремлениям Печковского, его особому вниманию к «народным сказкам, народным поговоркам, пословицам», которые, если их правильно представить и достойно проиллюстрировать, «заставят нас помнить о вековой мудрости и о народной красоте» [Печковский, 1914, с. 810–811]. Яковлев и в дальнейшем выступал в роли иллюстратора рассказов Асеева, что, видимо, можно объяснить тем, что его сотрудничество с «Проталинкой» состоялось отчасти «по семейным обстоятельствам».

Главным оформителем журнала стал Арсений Уречин (1886–1941), уроженец Харькова, недолговременный участник объединения живописцев «Голубая лилия» и будущий муж художницы Марии Синяковой-Уречиной (1890–1984), которая оформила три поэтических книги Асеева: «Зор» (<Харьков,> 1914)<sup>11</sup>, «Леторей» (М.: Лирень, 1915) и «Ой конин дан окейн!» (М.: Лирень, 1916), — причем выполненная ею обложка последнего сборника существует, по меньшей мере, в четырех вариантах.

Ее младшая сестра Ксения (1892–1985) была та, ради кого Асеев прервал свое участие в «Центрифуге» и в июне 1914 г. уехал в Харьков. На фоне его любви печатные выпады Боброва и сопровождающие их групповые передраги казались малоинтересным занятием. С сестрами Синяковыми Асеев познакомился за год до этого в Москве и тогда же начал ухаживать за Ксенией. Она вышла за него замуж, но еще прежде стала его музой, той самой «Оксаной, жемчужиной мира» из стихотворения 1920 г. «Заржавленная лира» («Осень семенами мыла мили...»):

Оксана! Жемчужина мира!  
Я, воздух на волны дробя,  
на дне Малороссии вырыл  
и в песню оправил тебя [Асеев, 1921, с. 49].

Это стихотворение напечатано в посвященном ей разделе «Будетляне» в шестой книге Асеева «Бомба». Следующий его сборник «Стальной Соловей», вышедший в 1922 г. во ВХУТЕМАСе, открывается посвящением-аббревиатурой «Окжемир», а на первом избранном его поэтической работы проставлено «Посвящается К. М. А.» [Асеев, 1923, с. 5]<sup>12</sup>.

Выбрав М. Яковлева на роль основного иллюстратора рассказов Асеева другого художника, Печковский тем самым предотвратил конфликт, который могли ненамеренно вызвать эти семейные связи. Следующее асеевское сказание «Князьчи очи» было снова оформлено Яковлевым [«Проталинки». 1914. № 5. С. 326–331].

Пик публикаций Асеева в журнале пришелся на осень 1914 г. и напрямую связан с его переездом в Харьков. Здесь он познакомился с поэтами Григорием Петниковым и Богданом Гордеевым (писавшим под псевдонимом «Божидар») и вместе с ними составил литературный кружок «Лирень». В конце августа литографским способом, как и полагалось футуристическим изданиям, под грифом «Лирня» вышли «Зор» Асеева и «Бубен» Божидара. Оба сборника<sup>13</sup> были оформлены Марией Синяковой-Уречиной и выпущены минимальным тиражом: «Зор» вышел числом 20 экземпляров, «Бубен» — 40.

4 сентября 1914 г. Асеев писал Боброву по поводу этих книг и своих дальнейших издательских намерений:

Сергей Павлович,

Открывая прилагаемыми изданиями деятельность в наступающем сезоне совет к<нигоиздательст>ва «Лирень» поручил мне предложить «Центрифуге» обмен отзывов и изданий.

Отзывы могут быть помещаемы в готовящихся к выходу «Оповестях речи», отводящих особый отдел событиям печатного мира.

Временный адрес совета: Харьков, Старомосковская, 54 [Асеев, 1990, с. 380]<sup>14</sup>.

Несмотря на то, что впоследствии он вспоминал Боброва как «человека требовательного и ревнивого в литературе», замечая, что «скоро охладел в своей литературной дружбе» к нему [Асеев, 1964, с. 654], это письмо — свидетельство таланта Асеева поступать так, как он считал выгодным для себя, не обижая при этом других. Впрочем, из этого сотрудничества ничего не получилось, поскольку уже шла Первая мировая война.

Постепенно известия с фронта нашли свое отражение на страницах «Проталинки», в том числе — в публикациях Асеева: рассказ «Рядовой Васейка» [Проталинка. 1915. №9. С. 514–531] и стихотворение «Помни!» написаны на военную тему:

На полу, играя в солдаты,  
Ты забудешь, что нынче война,  
Что деревья, лошади, хаты  
Называются словом: страна.

Каждый день по свежим газетам  
Посмотреть — в глазах зарядит:  
Тот героем стал, а об этом  
Написано только: «убит».

Это те, что по улице в праздник  
Шли весело, с музыкой в шаг,  
А теперь мы прочтем лишь рассказ о них,  
А теперь перед ними — враг!

О, подумай! Выросши взрослым,  
Ты припомнишь это как сонь,  
И великим временем прошлым  
Станет утро твоих времен.

То народ твой ушедший из улиц,  
Из домов, деревень, полей,  
Чтобы пули, свистя, не коснулись  
Невзначай головенки твоей,

Чтоб, не зная имен их и чисел,  
Вечно помнил ты грозные дни  
И свой дух сохранил и возвысил,  
Как тебя сохранили они  
[Проталинка. 1915. №3. с. 180–181].

Выполненная Яковлевым концовка изображает средневековых солдат с пиками. А в 1914 г. он иллюстрирует изображениями игрушечных солдатиков вторую часть асеевского цикла «Ловчий Рог» [Проталинка. 1914. №9. С. 550, 556], построенного на пересказе нескольких рукописных источников, в том числе «Воскресенской летописи». Печковский упоминает солдатиков Яковлева в своем редакторском письме, где разъясняет маленьким читателям, почему в «Проталинке» так важны «заставки, концовки и виньетки»:

Помещаются они, скажем прямо, для украшения самой книжки, для того, чтобы она была живее, наряднее, а, кроме того, для того, чтобы отличить одну книжку от другой, чтобы вид книжки остался у вас в памяти.

Положим, у вас несколько книжек, и у всех у них заставки настолько похожи одна на другую, что вы их совсем не помните, совсем не заметили даже их. Это такие заставки, которые имеются в каждой типографии, почему они и называются в обиходе «типографскими», почему они так однообразны и скучны.

Положим у вас есть еще несколько книжек — для удобства возьмем ту книжку, которую вы сейчас держите в руках. Вы уже не смешаете по виду эту книжку с другой. Вы сейчас же вспомните: «Это та книжка, у которой заставки — народные приметы». «А то еще у нас была книжка с заставками — солдатиками». И так для каждой книжки у вас будет живая память [Печковский, 1914, с. 809].

Больше к событиям Мировой войны Асеев не возвращался: литературная маска сказителя и летописца была для него более интересной и подходящей, чем сомнительное положение пропагандиста. Тем не менее, в его публикациях для «Проталинки» заметен сдвиг. Если прежде его выбор источников не зависел от географии — свидетельством тому переложения «Калевалы» и скандинавских саг (см., напр., «Повесть об Эймунде и Рагнаре», 1915), — то теперь Асеев целиком переключается на пересказы древнерусских летописей и польских хроник.

Вслед за Петниковым и Божидаром Асеев попадает под сильное влияние Велимира Хлебникова, в особенности его панславистских идей<sup>15</sup>, еще не выстроенных в отдельную систему, но задающих иной творческий вектор всему движению «будетлян»:

Футирист, «будетлянин», новатор, авангардист и т. д., Хлебников вместе с тем — самый, пожалуй, архаичный из русских писателей XX века. Поэт проявлял незаурядный интерес к «Слову о полку Игореве», прежде всего — к древнейшему, языческому слою великой поэмы <...>. Свою книгу «Архаисты и новаторы» Ю. Тынянов хотел назвать «Архаисты-новаторы» — через дефис, близкий по смыслу знаку равенства, и формула «архаист-новатор» как нельзя лучше подходит Хлебникову. Ю. Тынянов имел в виду не до конца понятную, но безотказно действующую закономерность, в силу которой любая попытка новации в области культуры поднимает на поверхность давние культурные слои, и чем мощнее попытка, тем глубже перемещаемый слой архаики.

<...> Сокрушительное новаторство Маяковского повело к актуализации в его творчестве средневеково-христианских моделей (через голову «новой» русской культуры XIX века); тихое, но, по сути, более резкое «будетлянство» Хлебникова актуализировало еще более древние — древнейшие — культурные модели, относящиеся к области первоначальной мифологии [Петровский, 2008, с. 80–82].

Ново-архаистические воззрения Хлебникова оказали воздействие на развитие русского футуризма, прежде всего, его кубофутуристической ветви, то есть кружка «Гилея», участники которого «воплощали в творчестве мифологию скифства, одновременно основанную на архаике и авангардистскую» [Савицкий, 2018, с. 364]. В результате сочетания этих двух подходов складывается боковая ветвь русского футуризма — «будетлянское скифство», поскольку именно скифская мифология и оказывается тем языческим культурным слоем, который «поднимает на поверхность» Хлебников.



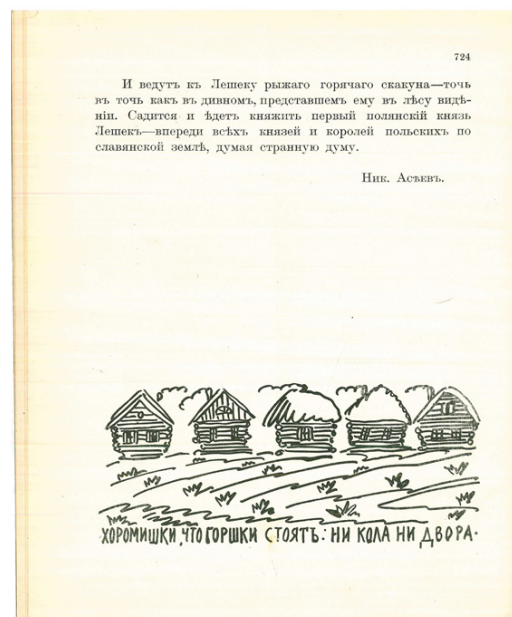
Проталинка. 1914. № 11. С. 712.  
Заставка М. Н. Яковлева

В случае Асеева этот комплекс идей получает практическое воплощение на страницах «Проталинки». Его первые рассказы, написанные для журнала — «Подзвонок», «Князь и очи» и «Ловчий Рог», — представляются скорее опытами адаптации для детского чтения исторических и летописных источников. Здесь есть и сюжетные «провисания», и неоправданные длинноты, и некоторая сусальность стиля, в целом свойственная жанру пересказа народных легенд. Зато новеллу «Первый князь Полянский. Из польских летописей», напечатанную в конце 1914 г. [Проталинка. 1914. № 11. С. 712–724], можно считать авторской удачей Асеева: структурно история выстроена безупречно, все ее элементы — несмотря на объем — сбалансированы достаточно органично.

Более того, этот рассказ напрямую связан с поэтическими поисками Асеева периода «будетлянского скифства». Уже внутри рассказа «Игорев Лов» появляется стихотворение «Перуне, Перуне...», которое впоследствии будет включено им в цикл «Сарматские песни».

В сказании «Князь и очи» он использует (и толкует в примечании) архаические слова «туга» и «ковуи», которые также присутствуют в лексиконе сборника «Зор». Рассказу «Первый князь Полянский» в качестве эпиграфа предпослан стилизованный текст «старинной песни», который под названием «Над Голлой» также войдет в «Сарматские песни». Примечание к тексту не только разъясняет непонятное слово, но и дает читателю ключ к сложной метафоре, организованной наподобие скандинавского «кеннинга»:





Проталинка. 1914. № 11. С. 724.  
Концовка М. Н. Яковлева

«Шерешь — тонкий ледок: вся строфа рассказывает, таким образом, что не весна пришла, не щука пробила хвостом первый лед, а снова “лютая свара” накалила воздух до того, что дождь вскипает, как кипяток» [Асеев, 1914, с. 712]<sup>16</sup>.

Рассказ демонстрирует самый принцип перехода народной эпической памяти в поэзию: большой монолог «витязя» — Перуна, записанный «в строчку» («Здравствуй, первый князь Полянский! Аль не узнаешь детей своих?...»), от ритмизованной прозы движется к чистому хореическому звучанию: от слов «В том хмельном ли зелье, / ядом замучёном, / кралась злая доля / полянского люда. / Заиграла Гопла / черными струями, / потопила князей, / помраченных зельем...» до конца монолога («...И Поляне стали / сильны и могучи, / только вечно будет / им грозиться Попель») безраздельно царит трехстопный хорей. Незаметные при беглом чтении странности в тексте речи Перуна при скандовке демонстрируют читателю момент перехода повествовательной речи в поэтическое измерение.

Отдельное место в «Первом князе Полянском» занимают песенные вставки «Стяни пояс ту же...» и «Ой, в пляс, в пляс, в пляс! / Есть князь, князь, князь...», представленные в цикле «Сарматские песни» как самодостаточные стихотворения, благодаря вмешательству Боброва. В 1916 г. Бобров издает под маркой «Центрифуги» пятую книгу Асеева «Оксана», которую можно считать первым сборником «избранного» поэта: в книге около 90 страниц, но всего 13 новых стихотворений. Бобров, ворча, рассказывал М. Л. Гаспарову, что Асеев «работать не любил, разбрасывался. Всю “Оксану”

я за него составлял» [Гаспаров, 1993, с. 78]. По своим словам, Бобров намеренно включил в книгу эти песни: «У него была — для заработка — древнерусская повесть для детей в «Проталинке», я повынимал оттуда вставные стихи, и кто теперь помнит, откуда они? “Под копыта казака — грянь! брань гинь! вран!”...» [Там же, с. 78]. Н. И. Харджиев позже замечал по поводу песни «Ой, в пляс, в пляс, в пляс!..», что здесь «Асеев впервые <в русской поэзии. — А. У., И. Л.> применил на протяжении всей строки сплошные “спондеи” — столкновение полнозначных ударных слов» [Харджиев, 1958, с. 427].

Линия «будетлянского скифства», которой Асеев придерживается в своих переложениях для «Проталинки», находит свое конечное воплощение не только в «Сарматских песнях», но разрабатывается им в сборнике «Зор» и в написанной вместе с Г. Петниковым книге «Леторей» (Харьков, 1915), последнем издании «Лирня». Сотрудничая с журналом Печковского, Асеев оттачивает свое литературное мастерство, а творческие находки на поприще историй, рассказанных детям, оказываются неотъемлемой составляющей его серьезной литературной работы. Публикации Асеева в «Проталинке» предвосхищают и опережают сходную тенденцию в творчестве значимых поэтов советского времени — от Б. Пастернака и О. Мандельштама до обэриутов, — которые в своих произведениях для детей находили возможности для литературного эксперимента.

### *Примечания*

<sup>1</sup> См. его пространное послание, написанное около 31 августа (13 сентября по н. с.) 1909 г.; № 166 в изд.: [Андрей Белый и Эмилий Метнер, 2017, с. 431].

<sup>2</sup> Как отмечено Л. Рудовой, «особого внимания заслуживает <...> обсуждение иллюстрированных детских журналов конца XIX–начала XX вв., отмеченных эстетикой Серебряного века» [Рудова, 2017, с. 261]. Вообще, по заключению рецензента, «первые десять глав монографии Хеллмана, охватывающие период от момента зарождения детской литературы до конца 1980-х гг., достойны высокого признания» [Там же, с. 262].

<sup>3</sup> В альманах включено пять стихотворений Асеева [Лирика, 1913, с. 17–27] — равное число для всех участников объединения, среди которых нужно назвать упоминавшихся выше С. Рубановича и Н. Мешкова, а также Сергея Боброва. Обсуждая свой «список сотрудников» с Метнером, Белый включил в него Боброва под его тогдашним псевдонимом «Мар Иолэн» [Андрей Белый и Эмилий Метнер, 2017, с. 437].

<sup>4</sup> В выпусках 14 и 16 «Весны» — № 554 и 672; см: [Соболев, 2012, с. 46, 51]. Пользуемся случаем поблагодарить Е. В. Глухову и А. Л. Соболева за безотлагательную помощь при подготовке настоящей работы.

<sup>5</sup> Здесь он был представлен как «Ник. Асеев».

<sup>6</sup> «Великий Пост» («Протаяли дали лиловые...») и «Казначейша» («С соборной колокольни...») [Весна. 1911. № 24. С. 8].

<sup>7</sup> Бобров вспоминал, что они с Асеевым «через неделю стали закадычными друзьями» [Бобров, 1980, с. 9].

<sup>8</sup> См. [Смола, 1969; Таганов, 1970], а также примечания И. О. Шайтанова в: [Асеев, 1990б, с. 478–479].

<sup>9</sup> Сохранена авторская орфография — *Прим. ред.*

<sup>10</sup> Проталинка. 1914. №4. С. 255–260.

<sup>11</sup> На титульном листе местом издания книги указана Москва.

<sup>12</sup> Здесь стихотворение «Заржавленная лира» перепечатано в одноименном разделе [Асеев, 1923, с. 61–64].

<sup>13</sup> Для солидности местом печати сборников была указана Москва. На самом деле книги «Лирня» печатались в Харькове, в типографии «Дрейшпуль и Семья» (Плетневский пер., 14).

<sup>14</sup> Исправлено по автографу: РГАЛИ. Ф. 2554. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 1.

<sup>15</sup> Об источниках идей Хлебникова см. главку «Призрак панславизма» в кн. [Шевеленко, 2017, с. 170–187].

<sup>16</sup> Полностью текст републикуется в Приложении к этой статье.

### *Источники*

Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915. Т. 1: 1902–1909 / вст. ст. А. В. Лаврова; подг. текста, комм. А. В. Лаврова, Дж. Малмстада и Т. В. Павловой. М.: НЛО, 2017.

*Асеев Н.* Первый князь Полянский (Из Польских летописей) // Проталинка. 1914. № 11. С. 712–724.

*Асеев Н.* Ночная Флейта. М.: Лирика, 1914.

*Асеев Н.* Бомба. Стихи. Владивосток: Дальневосточная трибуна, 1921.

*Асеев Н. Н.* Избрань. Стихи 1912–1922. М.; СПб.: Круг, 1923.

*Асеев Н. Н.* Проза поэта. М.: Федерация, 1930.

*Асеев Н. Н.* Родословная поэзии: Статьи, воспоминания, письма / сост. А. М. Крюкова и С. С. Лесневский. М.: Сов. писатель, 1990а.

*Асеев Н. Н.* Стихотворения и поэмы / сост., предисл. и комм. И. О. Шайтанова. М.: Худ. лит., 1990б.

*Асеев Н. Н.* Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. М.: Худ. лит., 1964.

*Белый А.* Стихотворения и поэмы: в 2 т. Т. 1 / под ред. А. В. Лаврова и Дж. Малмстада. СПб.; М.: Академический Проект: Прогресс-Плеяда, 2006.

*Бобров С. П.* Записки о прошлом // Воспоминания о Николае Асееве / сост. К. М. Асеева и О. Г. Петровская. М.: Сов. писатель, 1980. С. 6–11.

*Брюсов В. Я.* Среди стихов, 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии / вст. ст. и комм. Н. А. Богомолова. М.: Сов. писатель, 1990.

Калевала. Избранные места в переложении для детского возраста / сост. Н. А-в [Н. Асеев]. М.: Проталинка, 1915.

Лирика: Первый альманах. М.: Лирика, 1913.

*Локс К. Г.* Повесть об одном десятилетии (1907–1917) / публ. Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова // Минувшее: Исторический альманах. № 15. М.; СПб.: Atheneum: Феникс, 1994. С. 7–162.

*Пастернак Б. П.* Письма к Константину Локсу / публ. Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак // Минувшее: Исторический альманах. № 13. М.; СПб.: Atheneum: Феникс, 1993. С. 161–197.

*Пастернак Б. П.* Полн. собр. соч.: в 11 т. Т. 7. Письма 1905–1926 / сост. и комм. Е. В. Пастернак и М. А. Рашковской. М.: Слово, 2005.

Повесть об Эймунде и Рагнаре, норвежских конунгах, о их жизни и приключениях на службе у русского князя Ярослава, об убийстве князя Святополка, записанная со слов пяти воинов из дружины Эймунда: Из скандинавских саг / излож. Ник. Асеев. М.: Проталинка, 1915.

### *Исследования*

*Гаспаров М. Л.* Воспоминания о Сергее Боброве // Неизвестная книга Сергея Боброва. Из собрания библиотеки Стэнфордского Университета / под ред. М. Л. Гаспарова (Stanford Slavic Studies. Vol. 6). Oakland: Berkeley Slavic Specialties, 1993. P. 75–89.

*Лавров А. В.* Мифотворчество «аргонавтов» // Миф. Фольклор. Литература. / отв. ред. В. Г. Базанов. Л.: Наука, 1978. С. 137–170.

*Пастернак Е. Б.* Борис Пастернак: Материалы для биографии. М.: Сов. писатель, 1989.

*Петровский М. С.* Городу и миру: Киевские очерки. 2-е изд. Киев: А+С: Дух і Літера, 2008.

*Печковский А. П.* Несколько слов о заставках «Проталинки» // Проталинка. 1914. № 12. С. 808–811.

*Рудова Л.* [Рец. на]: Бен Хеллман. Сказка и быль: История русской детской литературы. [М., 2016] // Детские чтения. 2017. № 11. С. 259–263.

*Савицкий С. А.* Об утонченном варварстве будетлян: Скифская война против немцев и историко-археологические исследования Северного Причерноморья конца XIX — начала XX вв. // Die Welt der Slaven. 2018. Jg. 63. Heft 2. S. 364–377.

*Смола О. П.* Славянские мотивы в раннем творчестве Асеева // Советское славяноведение. 1969. № 4. С. 49–56.

*Соболев А. Л.* Весна. Орган независимых писателей и художников: Аннотированный указатель содержания. М.: Трутень, 2012.

*Таганов Л. Н.* «Славянская» тема в ранней поэзии Н. Асеева // Проблемы русской и зарубежной литературы. Вып. 4. Метод. Стил. Мастерство: Материалы межвузовской конференции (май 1967 г.). Ярославль, 1970. С. 20–29.

*Флейшман Л. С.* История «Центрифуги» // Флейшман Л. С. От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М.: НЛЮ, 2006. С. 521–543.

*Харджиев Н. И.* Заметки о Маяковском // Новое о Маяковском. Литературное наследство. Т. 65. М.: Наука, 1958. С. 397–430.

*Хеллман Б.* Сказка и быль: История русской детской литературы / пер. с англ. О. Бухиной. М.: НЛЮ, 2016.

*Шевеленко И. Д.* Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М.: НЛЮ, 2017.

*Приложение*

Николай Асеев в детском журнале «Проталинка»  
1914–1915 гг.

ПОДЗВОНОК  
(Из рассказов о «лихих годах»<sup>1</sup>)

Уже совсем за вечерело, когда ляшские пушки, надорвавшись от рева, устали бить белые стены обитатели, во многих местах зиявшие непоправимыми ранами. Далеко потянуло дымом от вражеских костров, далеко разносились хмельные голоса веселившихся о конце Русского царства, пришедших разделить его лиходеев.

Никитко-подзвонок устал за день от побегушек — сам отец-игумен взял его к себе в келейники, так как Данило, послушник его, был ранен на угловой башне, что отбила сегодня приступ.

Никитку отец игумен давно привечал. Он-то и дал ему прозвище подзвонка, услышав его голосок меж мощных басов на «Достошно». А там и впрямь стал Никитко подзвонком: страсть любил колокола. Бывало на Свят-День так и вьется вокруг колокольни, куда строго-настрого было запрещено пускать поступивших на послух, после того как языком сволокло и ударило об земь одного молодика, что горазд был подбирать трезвоньки на гласы. Не досмотрел старый отец Иосаф — глянул, а мальчонка уж летит вниз. Хорошо еще то, что зимой дело было, да звонница малая — отделался тот только синяками.

А Никитке — после того, как увидел его отец-игумен в просвирной перезванивающем на медных тазах — позволено было поступить на послух к о. Иосафу, старому монаху, что тридцать лет как оглох от колокольного звону — голосу человеческого не слышал, а ударь ты ему в двухфунтовой при двадцатиголосом пасхальном, красном трезвоне — ударь ты ему, говорю, на полмига раньше — так долго будешь вихры приглаживать.

Ласково таково улыбнулся суровый всегда игумен, ущипнул Никитку за алую щеку и сказал, чтоб звонил бы языком своим поменьше, а колокольным покраше: большой болтун был Никитко, а и сам слушать был горазд; вот и теперь чем бы спать идти после трудного дня, обежал трапезную, нахватал в подрясник луку да хлеба — и шмыг в дверь на волю, к кострам, не гаснувшим уж много ночей под стенами.

Не тушили костров и потому, что отдохавшие защитники Лавры обогривались вокруг огня, и потому, что нельзя было давать остывать

---

<sup>1</sup>Ряд этих рассказов замышлен автором. Настоящий — относится к эпохе смутного времени (осада Т. С. Лавры).



котлам со смолой да с варом — неровен час, захотят незваные гости в потемках пожаловать.

Трудное время переживала Троице-Сергиева обитель: вот уже больше года оцепила ее кольцом вражья рать; измором думает она поломать крепкие выи чернецов. Знают ляхи, что как замок у скрыни — так и святая обитель у Белокаменной: самые крепкие, самые славные сыновья Царства Русского заперлись в ее стенах. «Не выжечь проклятых попов, — говорят враги, — не видать нам покою в земле дикарей этих — замутят народ, что их голосу, как кличу матернего, ждет, и пропадут наши головы».

Так и горят костры напролет еженочно. А вокруг костров, опершись на бердыши, дремлют в полсна воины в рясах да клобуках. Чуть пронесется оклик с дозора, и сна как не бывало: горят их взоры ярче чищенной стали, пересекают потемки, где неведомыми путями наступают пришельцы лиходеи.

Горят костры под стенами, как свечечки на заутрени, тихие речи ведут бойцы с бледными, худыми лицами. Развлекают себя рассказами, чтобы не думать о горькой участи родной земли, да о страшном том часе, когда сломятся последние силы, подточенные непрерывной тревогой, усталю, голодом.

Никитко неслышно прокрался к костру, как мышь, забился под ворох кож, на которых раскачивали камни прежде чем свалить их на головы ляхов, и слушает рассказ старца, широкоплечего седача, что дал обет: раньше, чем не снимут осады, не снимать пудовых вериг с оплечья. А и носит он те вериги как перышки — даром, что мясо до костей проели края железа.

Мерно рокочет голос старца — и задумчиво внимают ему остальные, не выпуская из рук рукояти шестоперов. Говорит отец Макарий:

— И заснув, повидел отец странный сон: большое расстилалось поле в духовитых цветах да травах. И лежит на том поле вся братия, кто ничком, кто на боку — мертвы не мертвы, а сном будто тяжким захвачены. Тихо всё. Только, видит отец, поднимается с земли человек — лицом смутен, взором темен, а вместо сапог — копыто. И идет он по полю и срывает цветы-лепнянки, что будто смолой медовой помазаны, срывает он их горстями и кидает на отцов спящих. К одним цветы те аленькие пристают, а с других скатываются. И много уж под теми цветами не видать стало! Проснулся отец — рассказал игумену сон свой — тяжело ему на душе было. Тогда-то оно и невдомек было, а теперь и сказывается! Ой, многих, братия, прельстил диавол бесовскими своими цветами. Много православных полегло спать навеки!

Глухо гудит голос старца Макария, но уж никто не внимает ему: тяжкая дрема спаяла веки — не двинуть рукою, застывшей на железе. Вот и сам рассказчик умолк.

Зевнул Никитко — перекрестил рот рукою и ползком прокрался на стену. Уж брезжит еле-еле на востоке, и почти потух костер на стене под большим котлом со смолою. Глядит Никитко, а ключник отец Симеон, что на верхнем дозоре, лежит у костра ничком, распластав руки, — неужто заснул? Нет, не сон то свалил его: бежит алая струйка с виска, по стене растекаясь, и уж запекается и темнеет. Не впервой Никитко видит убитых, а всё жутко смотреть. А был и ласков к нему Семен и часто его по рыбу брал, и силки учил делать. Глянул вниз со стены Никитко, чтоб кликнуть на помочь — ан там петля за выступ зацепилась, и уж натягивается веревка под тяжестью вражеского тела. Кинулся он к гребню: внизу шесть польских рыцарей, в латах да шлемах, наклонились, прилаживают длинный фитиль к пороховому бочонку, что вкопали под стену.

Никитко был не из робких, да и не из глупых. Первым делом бросился он было вниз со стены побудить заснувших воинов. Но, поворачиваясь, заметил он, как колыхает обрывки веревки на воротах, приправленном к шесту, на котором чернел обугленный котел с варом. Еще теплился костер, и бурлило в котле. А шестеро латников как раз стояли под тем местом. Навалась на ворот всем телом, Никитко начал раскачивать котел; словно язык у красного колокола, нехотя покачивался котел. Но все больше и больше становился размах, и белая пена прыдала через край. Вот еще одно усилие — и котел, перемахнув через стену — за клубился белым паром, и зашипел костер, потушенный потоками расплескавшегося вара. Капли пота текли по щекам Никитки-подзвонка, но боялся он глянуть за гребень, чтоб не увидеть мертвых тел сварившихся ляхов.

Собственноручно отгаскал за вихры отец-игумен Подзвонка, а потом благословил на ратный доспех — на дозоре стоять. И скоро сняли осаду враги — как подошел к Троице красавец князь Скопин-Шуйский — племянник царский. Услыхав рассказ про шустрого служку, — расцеловал он его в обе щеки — взял с собой в Москву ко цареву двору в стольники; хоть был он сирота — без роду без племени. Такие были души у русских детей, что росли под грохот пищалей, что любили колокольный звон, и знали, чьей они родины.

*Асеев Н.* Подзвонок (Из рассказов о «лихих годинах») // Проталинка. 1914. №4. С. 255–260.

## КНЯЖЬИ ОЧИ

## Сказание

&lt;I&gt;

Гремят кони по Дону, по Днепру звенят чеканные уздечки, колыхаются шеломы по над Бугом — то текут дружины за князьями на совет, как промыслить земли Русской береженье. Светел лицом мудрый Владимир князь: конь его всех коней быстрее, храбра дружина могучая; пред шатром он по свежему лугу похаживает, в кольца завился его черный чуб — не белеет волос княжеский. Вот клубится пыль маревом: подъезжают князья Давыд и Олег Святославичи, разминают плечи замлевшие, князю старшему в пояс бьют челом; а уж там гудет земля от конского топота — Святополк со большою дружиною жалуется: хитрый Игорев сын Давыд-князь на малой лошадке по полю стелется; едет-едет сокол-князь Василько Ростиславич красен ликом, строен станом, славен удалью молодцекою. Собрались князья на большой совет: не стало житья на Руси. Блюдут князья о себе только, о земле же русской мало болеют. Стону не стало во груди земной от тех ли набегов половецких.

Говорил князь Володимир, плакался: «Браты любые, князья русские! Зачем губим землю Русскую! Рады распрячь поганые половцы — делят меж собой наши головы. Пусть бы головы наши поделены — поделена земля родная! Горе, горе нами, братья! взошла ненависть в сердца, туга<sup>2</sup> души обуяла». Задумались князья, затуманились. Но блеснул голубыми очами молодой Василько, захватил в горсть рукоятку меча: «Князья русские! Любо ли вами целовать крести на том, чтоб мирно столы держать<sup>3</sup>? А кто на кого будет, на того будем все и крест честный! Лихая година настала!»

Зашумели князья, заговорили: «Любо, любо! Целуем крест честной, держим каждый свою вотчину!» И было веселье промеж князей и пированье на радостях великое.

Зашумели дружины на берег костры складать, зашипели ковши через край хмельны, тешатся князья удалю потехою — борзые кони в погонь пошли. Всех ясней, всех быстрее кобылица Святополка дареная: даром ростом мала — ветром по земли стелется; обогнал уж князь всех дружинников, да и княжьи кони замылены. Только гикнул Василько по-звериному, завилась пыль подкопытная; на три пяди ветра вымеряли: обогнали Святополка, получил из княгининых рук чару браги стоялыя. Недобрым оком глянул Святополк на удалого, закутился на месте — поехал прочь. Отъехал за ним и Василько Ростиславич ко Днепру попоить коня: только глянул на воду, замутилась вода, заалела пеной закатною. Шарахнулся княжий конь в сторону — что за диво — вода индо в самом деле кровью взялась. Погрустнел князь, вспала тоска ему на душу — почуяло ретивое недоброе.

<sup>2</sup> Тоска.

<sup>3</sup> То есть княжить.

Невелика дружина у Давыда Игоревича — больше все ковуи<sup>4</sup> понабраны. А и есть у него други любезные, советчики проворные да смысленные: Туряк, да Лазарь, да Василь, где князь, там и они, где брага, там и они. А не по нраву пришлось им княжье согласие. Станут князь жить в любви да в мире — где дружных пожитков взять: пожалуй, и надобности не будет в ней: попритихнут половцы, как узнают о братаньи русских князей. На Василько ж они и еще злобу таили. Слыхали они, как в беседе князь похвалялся силой-удалью. Говорил он, что возьмет у князей дружину молодшую, пойдет на ляхов, да на половцев: так говорил князь: «Либо сыщу себе славу великую, либо голову свою сложу за землю русскую». Не любо было то слушать дружинникам: знали, что не хитрость да лукавство Василько возьмет с собою, а молодость да удаль. И порешили те в сердце своем: «Не быть сему былью!» И увидав, как потемнел Святополк, от злобы говорили ему: «Заговорена, княже, твоя кобылица. Порчей черной на извод пошла! Тому не было примера, чтобы чей-нибудь конь перегнал ее! А не иначе заговор тот ныне подействовал». И запали Святополку на сердце те речи — ничего не сказал в ответ — скрипнул зубами, прочь пошел.

Загремели копыа о стремена, кончилось пированье-веселие, разъезжаются князь по вотчинам. Пришли Святополк с Давыдом Игоревичем к Киеву, и рады были люди все. Только не рад был дьявол тому ликованью.

Темной ночью, черным часом ходят ко князю на заднее крыльцо люди подлые; шепчутся, прячутся от света Божьего, соблазняют соблазном сердце княжеское. И не вытерпел, сказал Давыд Игоревич Святополку: «Смотри, княже, береги свою голову! Кто убил брата твоего Ярополка?» И не раз те речи были говорены, пали на сердце, как семя в землю, и выросли и горьки были плоды те, что отведал веселый князь, удалой Василько Ростиславич.

## II

Счет дождь поля и леса, глухо шумят волны Днепровские. Черные тучи собрались над Киевом. Злоба да тоска хорошо владеет в такую пору сердцем человеческим. Посылает Святополк послов к Васильку — звать его на большой праздник — именины княжеские. Не хочется Васильку ехать, — а нельзя обидеть князя. Вот едет он полем печальный — тоска давно томит его сердце молодецкое. И видит сон по дороге. Встречает будто бы он своего дядьку детского, что на руках его нянчил. Говорит ему старый, а из глаз у него слезы как град сыплются: «Не езд, родимый, к недругу лихому; хотят тебя взять, недоброе над твоей головушкой бедною задумали! Не ходи, дитячко малое, не ходи, родимое нещечко, ждут черные вороны ясный твой оченьки выклевать!» Хочет князь поднять руку — и не может, оцепенела рука, не движется; глянул Василько, а у старого уже не слезы — кровь алая из глаз каплет, наземь

<sup>4</sup>Ковуи — наемники, инородцы.

падает, дымом к небу подымается. Хочет князь всклониться с седла обнять своего дядьку старого — нет силы в плечах, отяжелело белое тело, пальцем шевельнуть невмочь. А старик все плачет и плачет, и уж красные волны вокруг колен конских колыхнутся, и дико прядет конь ушами, вздыбился со страху, в сторону шарахнулся — тут проснулся князь: глядь, конь и впрямь весь в мыле, дрожью дрожит, хоть с места не двигался. Провел Василько рукою по глазам, давит что-то, словно пятаки медные наложены. Раздумался он над чудным сном своим, да тут же и сам над собой посмеялся: «Как меня возьмут — разве не клялись все мы в дружбе и согласии. Кто захочет против честного креста идти?» И приехал Василько к Святополку в дом, и, побыв малое время, стал собираться в путь. Оставлял его Святополк, а Давыд был нем и безгласен, стыд ало багрил его щеки. И только вышел Василько за дверь, схватили его и заковали в железы; а наутро сошлись кияне, и сказал им Святополк о лихом извете Давыдовом. И было в народе волнение великое, так как игумены, узнав о злом замысле, молили князя не губить Василька. Не послушалось святых мужей князьего злое сердце, и повез он брата князя в малый город под Киевом; ввели Василько в малую комнату, разостлали на полу ковер, бросились конюхи лютые на скованного богатыря. Да не сразу сдался молодец: тряхнул плечьями — отлетели псы поганые.

Тогда навалилось сразу десяток лихих недругов и свалили князя, надавили руки и ноги досками пудовыми, а злой Берендя, поганый Торочин, не побоялся Бога, подняли ножи над ликом светлым княжеским. Раз только еще сверкнули голубые Васильковы очи — и сбился вещий сон — не видать Васильку света белого, выколоты его светлые оченьки. Пал Василько, как мертвый, да встал после он грозен да немилостив. Везли князя, везли дорогою грудною<sup>5</sup>, падала кровь жаркая в черную грязь: а по той ли дороге весною цветики повыросли. Невелик цветок, да радостен, и светлей его на свете нет: Васильком прозывается.

Очнулся князь от кровавого сна, очнулся не на радость себе, да и врагам не на веселие. Пошла снова смута по Русской земле, закурилось поле чистое от копыт половецких. Много горя то черное дело наделало. Да сильна Русь — все повынесла... И стоит в поле том теперь рожь высокая, давний ветер ее поколыхивает, а по всей земле цветут князьи очи загубленные, на красу земную дивуются. Не дали им жизнь досмотреть, до веку будут пламенеть они синими огонечками, во полях цвести, сердце радовать, доколе нашей родимой Руси на земле стоять. А в те поры, как придет конец Русской земле — говорят старые люди разумные — покраснеют Васильки-цветы, разольются жаром-попымом, — потопят землю родимую.

*Асеев Н.* Князьи очи. Сказание // Проталинка. 1914. № 5. С. 326–331.

<sup>5</sup> Грудною — тяжелою.



## ЛОВЧИЙ РОГ

И быша три брата, единому имя Кий,  
а другому Щек, третьему Хорив, а се-  
стра их Лыбедь... и сотвориша себе  
город во имя брата своего старейшего,  
и нарекоша ему имя град Киев. И бяше  
около града того лес и бор велик и бяху  
ловяше зверь.

*Воскресенская летопись, 263*

## Игорев лов

Тысячу лет тому назад на крутом Днепровском берегу стояли рубленые княжьи хоромы, обнесенные широким частоколом-городьбой из приваленных друг к дружке двубохватных дубов. Перед воротами городьбы выкорчевана была большая, зеленая поляна, на которой высился сеченый из камня хмурый Перун. Над поляной бродили два княжеских вороних аргмака. Было еще раннее утро, и в лесу, плотным кольцом охватившем другой бок Днепра, было совсем тихо. Но вдруг широкие ветви затрещали под наплывом утреннего ветерка, сонно перекликнулись сойки, и внезапный протяжный переливчатый рев прокатился волнами по лесу. Спутанные кони пугливо шарахнулись к городьбе, когда на тот берег выкатилась громадная шуба бурого медведя, обмахивающего лапами ослепленную морду: пчелы плотным роем осаждали голову неповоротливого лакомки, который вне себя от боли и злобы, добежав до крутого кремнистого спуска, решил на отчаянное средство. Кувырком скатился он по щебню, — и вспененные волны закружились под ним, образовав большую воронку. Спустя несколько времени, медведь вынырнул сажени на две ниже по течению, и, фыркая и сопя, стал разгребать лапами воду. Красноголовый петух, обеспокоенный шумом, взлетел на частокол и, пригнув голову набок, подозрительно скосив глаз, выпрямил грудь и огласил утро звончатым кличем; в это время скрипнула белая дверь, и на пороге терема показался князь. В распоясанной рубахе ниже колен, шитой царьградской вязью, красных сапогах, отороченных мехом рыси, стал он, позевывая, шуриться на Днепр, стараясь угадать причину обеспокоившего его шума. Князь был молод и статен, широк в плечах, смугол лицом. Едва пробивающийся пушок темнил его подбородок; но глаза под сросшимися бровями глядели зорко и смело. Недаром Олег, глядя ему в глаза, часто говаривать, что ни один враг не посмотрит два раза Игорю в очи.

Присмотревшись, князь увидел шагах в пятидесяти ниже по течению вынырнувшего медведя. Опрямившись бросился он в хоромы и, сорвав

со стены саженный гнутень<sup>6</sup>, на ходу вырвал из колчана две длинных, оперенных до половины стрелы. Выбежав на крыльцо, князь припал на колено и, опершись плечом о резной столбец подкрылечья, стал натягивать тугую, в полста волосин конских крученую тетиву. Тяжело зажужжала медью оправленная каленая стрела и застряла в загривке уже выбиравшегося на кручу медведя. Тот, выбравшись на сушу, отряхнулся, как собака, и стрела выпала из густой шерсти, очевидно, не причинив ему вреда. Медведь коротким скоком скрылся в кустарнике, а Игорь в досаде ударил о колено хитро-изогнутый лук.

— Что, княже, видно еще зигзиц<sup>7</sup> пострелять тебе нужно немало, чтоб на шубатого идти. Метки твои стрелы, да недолетисты, — так говорил, усмехаясь, седой важеватый великан, опиравшийся на дубье.

То был пестун князя, меряч<sup>8</sup>, взятый в плен еще ребенком и воспитавший князя на своих руках. Он был одним из свидетелей Олегова хитрого захвата веселого Киева, он приплыл гостем по Днепру, скрывая под купеческой шубой острый двухсторонний меч, пронзивший сердце Аскольда. Любящий князя до безумия, он один мог безнаказанно высмеивать его неудачи, учить его и наставлять по старой памяти.

Игорь обернулся гневно, и алая кровь залила его щеки пожаром. Тут же, недолго думая, схватил он вторую стрелу, и, не целясь почти, пустил ее в старика, но ловким движением изогнулся тот в сторону и взметнул в воздухе рукой — уже держал ее, еще дрожащую от полета.

— Вот видишь, княже, твои стрелы как птицы — руками ловить их можно, — усмехнулся он под усы, — а Игорь, уже раскаявшись в минутной запальчивости, сжимал в крепких объятьях любимого своего дружинника.

— Прости, старый, — говорил он, — да не вводи меня другой раз во гнев, как распалюсь сердцем — сам себя не помню!

— Да ты, княже, точь-в-точь Перун — не глядишь, куда молонью бросишь, не тужишь по зареву смерти. А и пора бы тебе смирать в себе силу, да накапливать на недругов, ты же зря ее, как медведь об колоду, разбиваешь.

— Скучно мне, старый! Что тут под Киевом силу метать. Хорошо дяде по чужим землям пиры пировать, а и лучше бы посидел он годок на княженьи, а меня бы пустил вниз по Днепру с дружиною. Скучно мне, нудит меня сила, негде развеселить сердце. Ономясь Воронца в поле загнал со зла да с досады, а теперь чуть тебе око стрелой не выклевал.

---

<sup>6</sup> Гнутень — большой окованный железом лук, из которого стреляют, упираясь в него коленом.

<sup>7</sup> Зигзица — лесная голубка, иногда кукушка.

<sup>8</sup> То есть из племени мери.

Так говорил князь Игорь, входя со старым Наяном в горницу. На широком столе, покрытом цветным узорочьем<sup>9</sup>, уже дымился сбитень княжеский, стояли енды с мятным квасом, которым любил Игорь по утрам глотку промачивать. Большие царьградские кованые щиты украшали в два ряда стены горницы; шкуры туров<sup>10</sup>, брошенные на скамьи кругом светлицы с воткнутыми крест-накрест стрелами, сети от пересов<sup>11</sup> дополняли собой ее убранство, а меч, на полторы пяди вогнанный в потолок, богато чеканенный серебром с литой змеевидной рукоятью указывал на знатность и силу ее обитателя. Ложем князю служили две шкуры чернобурого медведя с подкладом<sup>12</sup> из белого бархата — таковы были «прохладные» хоромы, выстроенные еще Олегом неподалеку от Киева в Соколином Роге, для отдыха князя и его ловчей дружины.

— Что же скучать, князюшка, — заговорил старый Наян, когда уселись они с Игорем друг напротив друга за енды, — скука как туча — вымокнешь и высохнешь. А и то сказать, почему теперь под Киевом веселить душу. То ли дело было годов десятка два назад: туры во дворы заходили, людей выгоняли на холод, а сами в тепло греться шли. Вепрям счету не было — было с кем переведаться. А теперь ежели и забежит на путик<sup>13</sup> лют зверь<sup>14</sup>, то и то спасибо говори, что от тебя бежит, а не станет дожидаться меча в горло, как телушка.

— Что ж делать, Наян? Ты знаешь, как порчу лечить, как птицу манить, — вылечи мою тугу<sup>15</sup>, заговори мне сердце!

— Добро, княже! слушай теперь меня: бери ловитный рог, скликай дружину на выход, поведу тебя в такое место, что печаль твою как рукой снимет. Только подтягивай пояс потуже — путь неблизкий, перегонов пять сделаем.

Игорь недоверчиво крутит вьющийся черный чуб. Хоть и любил он своего пестуна и верил в силу его ведовства: помнил он, как вылечил старый Наян его любимого сокола. Совсем было захирел белоперый его боец, а старик поглядел ему в глаза, по головке погладил, подбросил в воздух — и взвился он выше облака. В другой раз и самому князю

<sup>9</sup> Вышитая шелком или драгоценными камнями ткань.

<sup>10</sup> Тур, тура, турица — дикие быки, охота на которых сопряжена с большой опасностью, т. к. они очень сильны и свирепы.

<sup>11</sup> Сети больших размеров на птицу.

<sup>12</sup> Подклад, подкладень — потник, надевавшийся под седло коня.

<sup>13</sup> Путик подкладывался охотниками для ловли зверей и птиц; это был вырубленный в лесу проход, на котором расставлялись сети и ловушки. Птичий путик назывался «силовным» — звериный «пасным».

<sup>14</sup> Стародавнее название волка.

<sup>15</sup> Туга старинное слово, значит оно тоже самое, что грусть, печаль, тоска. От него глагол — тужить.

плохо пришлось. Был он еще помоложе, разлетался на первоезженном красавце-аргамаке, не сдержал поводов — быть бы ему в Днепровском омуте. Глядь, откуда не возьмись, стал пред ним как раз на краю крутого обрыва старый. Конь со всего разбега пал перед ним вдруг на колени, кровавая пена обагрила закушенный удила, а старик, посмеиваясь, снял князя с седла, как малое дитя, поставил на ноги, приговаривая: «Моли, княже, Дажбога<sup>16</sup>, что ударил коню рукавицей в очи — не то кормил бы ты раков!»

И еще много чудного рассказывали про Наяна; будто бы привел он раз из чаши медведя в обротке, как годовика-жеребенка, что ходил тот медведь за ним по пятам и доставал ему пчелиные соты, что сам Перун ударил ему молнией в меч, и с той поры никто удара того меча не выдерживал, вспомнил все это князь Игорь, а все ж невдомек ему было, чем мог его старый обрадовать. Но, повинувшись какому-то предчувствию, снял он со стены золоченый двуколенчатый рог, и, подняв оконницу, ударил в лес трубным зыком. Далеко разносьсь волнами в утреннем чистом воздухе, зарокотал рог, отдаваясь многоголосым эхом в дальних оврагах и изложинах. И на голос его из чаши стали стекаться дружины. Одни в бранных доспехах, как бы готовые к рати, качали длинными копьями, перекинутыми на передней луке, позванивали длинными мечами: то были большей частью седобородые седачи, спутники из ратной дружины князя. Окованные железными панцирями, с турьими рогами на шлемах, они были похожи на двинувшиеся с мест многовековые дубы, и ехали на тяжкокопытных рослых вороных жеребцах, ступавших широким маховым шагом. Другие, одетые легче, были похожи на стаю молодых березок: в белых кожаных легких кольчугах, туго перетянутые поясами, обутые в белые же кожаные онучи и стоптии — род лаптей, плетеных из кожи, поддерживаемых накрест повязанными вокруг ноги до колена сыромятными ремешками — вооруженные рогатинами, шестоперами, сетями для силков и перевесами, они составляли пешую «молодшую» часть ловчей дружины князя. Наконец, на горячих аргамаках, то вздымая их на дыбы, то пуская вскачь с распущенными по ветру хвостами, вынеслись «сокольники» и «добычники» в легком одеянии, с короткими мечами у бедер, держа на рукавицах птиц, белых и черных соколов в парчевых и бархатных шапочках, закрывавших соколам глаза, чтоб не горячить их видом недостаточно ценной добычи. Дружина, столь быстро появившаяся на княжеский зов потому, что предки наши славяне спали в походе, будь ли он военным или «прохладным», т. е. для развлечения, одетыми и вооруженными, положив седло под головы, теперь быстро выстроилась в три «тучи», т. е. толпы в порядке старшинства и доблести витязей, и ожидала княжьего слова.

<sup>16</sup> Солнце.

Тот, переговорив предварительно с дядькой, обратился к ней со следующей речью.

— Витязи русские, дружина молодшая, и вы, лучники, сокольники славные мои посадники. Любо ли вам княжью речь слушать?

— Любо, любо, княже ласковый! — крикнули молодые ловчие.

Старые дружинники только понурили головы в знак внимания к словам князя.

— Витязи русские, дружина хоробрая, не стало полеванья под светлым Киевом. Все путики большими дорогами сделались, скорей бабу чем сохатого<sup>17</sup> встретишь. Нечем здесь веселить сердце. Сокол по небу полетывает, крылья вострые притупливает — все лебяде на столах стоять; веprü дикому на погонь пойдешь — на кобылу старую натыкаешься. А без дела замлевают плечи богатырские, стрелы мохом задернулись. Скоро уж в дубы стрелять придется под Киевом. Верно ли говорю я?

— Верно, княже, верно. Что и говорить: сокола от безделья линять начали! — зароптала дружина и смолкла, как листва под пролетевшим ветром.

— А то еще не речь была, а речь впереди будет. Слышано нами, что во Псковской волости веprü да медведи с туч валяются, и то не для красного слова сказано, а и видеть можно. Будто от лебяжьих крыл среди дня потемки становятся, а туры на водопой дружинами ходят. Почто ж нам, кияне, добрых коней застаивать. Любо ли вам в поход идти?

— Любо, любо, княже, — крикнули теперь почти уже все: каждому мнились новые места, добыча. Даже старые дружинники, поглаживая сивые усы, одобрительно покачивали турьими рогами своих шлемов.

— А когда любо, так и мешкать нечего. Торочьте котлы, супоньте коней, а как солнце спадет, выйдем из Рога.

Спустя час поляну перед хоромами в Соколином Рогу нельзя было узнать: все на ней копошилось, звенело, пело и двигалось.

Множество серых дроздов низко летало по-над поляной, любопытно озирая людей. Десятки кукушек одновременно перекликались в разных ее сторонах. Большие цветные бабочки кружились хороводами, и тяжелые золотые пчелы вились над красненькими звездочками лепнянок, синими сарафанами колокольчиков, зарослями цветущей клубники. Дружинники разложили костры и, принеся жертву Перуну, уселись вокруг дымных огней, помешивая варящуюся конину, поджаривая на длинных кольях целых кабанов и разнообразную дичь. Прощальные ковши шипели пенным, игристым медом, и молодежь, на радостях составив вокруг огней большое коло<sup>18</sup>, притоптывая, распевала охотничью песню, сложенную в стародавние времена и певшуюся перед охотными походами.

<sup>17</sup> Лось.

<sup>18</sup> Круг — хоровод.



Перуне, Перуне,  
Перуне могучий,  
Пусти наши стрелы  
За черные тучи.

Чтоб к нам бы вернулись  
Певучие стрелы,  
На каждую выдай  
По лебеди белой.

Чтоб витязь бы ехал  
По пяди от дому,  
На каждой бы встретил  
По туру гнедому.

Чтоб мчались кони,  
Чтоб целились очи,  
Похвалим Перуна  
Владетеля мочи.

Таковы приблизительно были слова этой песни. После нее все весело принялись полдничать под открытым небом, разговаривая о богатстве охоты под Псковом, об удачных предзнаменованиях ее, каковыми считалось то, что в день похода солнце играло семью цветами на воеводе, что княжий конь узду изгрыз, а у одного из сокольников сокол рзорвал цепочку, взвился к небу, и вернулся оттуда с дикой уткой, сам без напуска. Загасив костры, все принялись осматривать колчаны, перетягивать луки и вообще готовиться к продолжительному и обильному лову в богатой Псковской вотчине. Двенадцать княжеских отроков — так назывались оруженосцы и хранители князя — собирали и чистили запасные золоченые княжеские доспехи: червлёный щит в виде полукруга, выпуклого и украшенного драгоценными камнями, шестиаршинное стальное «воевое» копье, шесть малых «метальных» копейц, вырезанных из сердцевины вяза с железными наконечниками и опереньями, как у стрел для большей легкости в полете; княжой гнутень-лук, выше человеческого роста, натягивавшийся при помощи колена, расписной колчан с разноцветными легкими стрелами, отточенными остро и оперенными лебязьими перьями до половины. Игорь был уже в полном вооружении. Тонкая среброкованная епанча стройно охватывала его грудь, спускаясь до колен в виде рубашки. Высокий шолом с раскидистыми турьими вызолоченными рогами придавал его юношескому лицу несвойственное ему выражение свирепости, надо лбом качалось множество тонких золоченых пластинок, ослепительно сверкавших на солнце. К крыльцу двое отроков подвели, держа за шелковые подуздки, черного как смоль лощеного аргамака в седле, отделанном серебряными

кистями, пряжками и подвесками. Широкие стремяна выложены были бархатом, а по челке шла дорожка из жемчуга. Избоясь, князь выехал пред дружину, окруженный отроками, запел походный звучный рог — и поляна опустела.

В то время проезжих дорог на Руси было очень мало; были проложены торговые пути от города к городу, но так как на торг собирались раз или два в год, то и эти пути зарастали. Кому нужен был кратчайший путь, тот, зная местность, мог гораздо скорее проехать по так называемым «путикам», т. е. тропинкам, которые прорубались в лесу охотниками, каждый по принадлежности хозяину. Но так как другой не имел права следовать зверя на чужом путике, то понятно, что они шли нескончаемым лабиринтом, среди которого мог не заблудиться только человек очень опытный в разыскивании дороги. Зато этот способ переездов имел и свои преимущества, так как на нем легче было укрыться от сильнейшего врага, что особенно ценилось в те времена постоянной вражды отдельных княжеств, при которой никто не мог быть в безопасности в дороге, не говоря уже о лихих людях, т. е. разбойниках, избравших для нападения именно «большие пути», где они всегда рассчитывали на большую поживу, так как тяжелые колымаги с богатыми людьми, купеческие обозы можно было встретить именно на них.

Любимый Игорев отрок именем Мал, стройный темноглазый шестнадцатилетний мальчик, впервой уезжал так далеко от родного Киева. Ему было и весело, и страшно, чего он, конечно, не показывал товарищам — засмеют еще, чего доброго. Он вез лучшего княжеского кречета. Белая, крепкотелая птица мерно покачивалась ровно с поступью коня, дремля под парчовою шапочкою, вцепившись острыми когтями в зеленую рукавицу на руке Мала. Усталость давала себя чувствовать молодому телу: четверо суток пришлось не сходить с коня. Но рядом ехавший Игорь только посмеивался в усы. «Ничего, Мал! — говорил он, — зато приедешь в Киев волком — ишь у тебя от пыли борода выросла».

Солнце уже село, и тысячи алмазов дрожали на траве и ветвях деревьев. Скоро должны были сделать привал — последний перед началом большого лова: на пути то и дело слышался резкий крик сорок, верный признак близкого жилья. Не раз за день слышали треск ломимого вепрем валежника, множество птиц разных пород то и дело вспугивали они у лесных озер и болот. Вот поднялись тяжелые дрохвы и, тяжело маша крылами, шлепнулись в кустарники. Легкий свист крыльев, звенящих, как бубенчики, показывал, что неподалеку сорвалось стадо лебедей, обеспокоенное конскими топотом. Но пока не начинался лов, никто не смел отбиваться от дружины, хотя глаза охотников вспыхивали не раз, видя, как беспокоятся ловчие птицы, чуя добычу.

Князь ехал задумчив, положив руку на плечо Мала: он лишь изредка поглядывал вдаль из-под нахмуренных бровей.

Дружина разбросалась длинной вереницей на узком путике, и только старый Наян на сером своем богатырском коне неотступно следовал за князем, исподтишка наблюдая за задумчивостью своего воспитанника. Вдруг из небольшого озерца, лежавшего около путика, сорвалась белоснежная птица и, чуть не задев шолом князя, ринулась вверх в синее безоблачное небо. «Гляди, княже, какая красавица!» — кликнул Наян. В то же мгновенье кречет на руке Мала, сильно захлопав крыльями, почуяв добычу, сбил с глаз шапочку и, увидав лебедь, резким движением шарахнулся за нею. Путы, неплотно стянутые, разошлись, и Мал не успел вскрикнуть, как кречет был уже на свободе. Плавными кругами начал он заноситься над взреявшей красавицей. Князь и дружина, еще не придя в себя от неожиданности, глядели, запрокинув головы кверху, а уж птица сделалась едва заметной черной точкою в голубизне неба.

Оправившись от неожиданности, Игорь обратился к Малу: «Гляди теперь, Мале, в оба. Проворонишь мне кречета — пасти тебе коней!» — и, тронув коня, продолжал наблюдать за неожиданной охотой. Лебедь, увидав хищника, в свою очередь начала забирать все выше и выше, чтобы не дать врагу обрушиться на себя комком, но, видимо, сообразив, что ей не догнать его в высоте полета, плавно повернула вправо и быстрыми, короткими взмахами помчалась на север. Как раз в это время кречет, стоявший неподвижно посреди неба, сложил крылья и стрелой пустился вниз. Но завидев, что удар его неверен, красавец-кречет на половине излета распустил крылья, и, ширяя изгибами, отправился за лебедью в погоню.

Мал, видевший все это и боявшийся гнева Игоря, пришпорил своего гнедого и вынесся в начинавшееся поблизости поле; но добрая его лошадка была еще очень молода — под стать хозяину, и от непривычки к дальним походам сильно устала и не раз уже спотыкалась. Видел все это и Игорь: жаль ему стало любимой, холеной птицы, по меткости и быстроте которой не было равной в Киеве, да и окружные князья на нее заглядывались. Заметив направление полета, пришпорил он благородного своего коня, и тот, миновав лес, распластался по земле, как зверь. Дружина, поскакавшая было за князем, вскоре отстала, и лишь ветер, свистевший в уши Игорю, мог похвастаться соперничеством в быстроте его бега. Так несся князь, не теряя из вида воздушного боя, который длился все с тем же упорством. Лебедь эта, очевидно, стоила по необычайной быстроте крыльев и увертливости княжеского любимца. Все время не выпуская из вида своего преследователя, она не давала ему возможности стать в выгодное положение: как только он останавливался в небе, она ловкими взмахами крыльев отодвигалась далеко в сторону; тогда кречет начинал догонять ее, в то же время стараясь не упустить занятого им в высота положения. Так продолжалась эта

воздушная пляска; и усталость в ней должна была грозить гибелью белой проворнице.

Князь также не уставал гнать коня. Теперь уж и бесславно было бы ему воротиться без кречета.

«Коня загоню, а достану птицу», — сказал он себе. Немало увалов перерезал он. В густой роще, которую не захотел он объезжать, ветвями сорвало с него шелом; чуб его развевался по ветру, и пена клоками летала с втянувшихся боков коня. Князь все скакал и скакал. Наконец вдали за крутой излоббинкой, когда, очевидно, усталая лебедь сделала крутой поворот в сторону — сокол камнем свалился с середины неба — и больше князь, как ни напрягал острого взора — не увидел их поднявшимися. Конь задыхался от бега, и не раз уже цветная шелковая плеть прошла по крутым его бедрам. Прижав уши, как заяц, взлетел он на гору, и вдруг грянулся со всех ног оземь, дрожа мелкой дрожью. Князь от сильного толчка вылетел из седла, и, встав, подошел к коню. Бока скакуна высоко вздымались, и пена, как мыло, блестела на черной его спине. Ослабив подпругу и разнуздав коня, Игорь повел его в поводу, надеясь встретить какой-либо ручеек, чтобы освежить горящую голову и запекшиеся губы. Как уже сказано было выше, все это падение совершилось на вершине небольшого холма, окруженного зеленеющими полями; направо за крутым поворотом Игорь, сошед, увидел большое, далеко раскинувшееся селение. Клубы пыли поднимались над стадом, входившим за околицу. У рубленого колодца с высоким шестом журавля стояла стройная девушка в пестрой плахте<sup>19</sup> и белой, как снег, рубашке. Прикрыв рукой широко открытые лучистые глаза свои, она разглядывала красивого незнакомого витязя. Другой рукой она придерживала длинное коромысло с белыми деревянными ведрами, полными водой. Густые соболиные брови ее были стройно изогнуты, розовые губки полуоткрыты, в очах сверкала смелость и ум. Князь остановился, пораженный ее красотой. Потом, подошедши к ней, попросил у нее воды испить. Легко перегнувшись, отцепила она с зарубки ведро и, поклонясь с достоинством, подала его князю. Тот, набрав воды в рот, спрыснул голову своего скакуна. Потом, смочив его горячую кожу, напился и сам.

— Как зовется селенье то, красавица? — спросил князь у девицы, любуясь ею. — Богато ль оно, радощно, что такие девицы как ты славят его красотой своей?

— Село наше прозывается Выбутским, славной Псковской волости. Богачеством своим не хвастает, а должно что приветливо, коли такие витязи на пути к нему коней замаривают, — насмешливо заключила она, оглядывая князя, который еще не успел стряхнуть пыли и листьев, приставших к нему во время падения.

<sup>19</sup> Юбка из клетчатой или полосатой материи.

Князь оглянул себя, и, зачерпнув в пригоршни воды, ополоснул ею лицо.

— Ин быть по-твоему, — сказал он, улыбнувшись, — не сумел похвалить, сумей выпутать. А ты, я вижу, не только лицом красна, а и на язык востра. Чем же мне тебя отблагодарить за воду да за речь умную?

— Поблагодарил витязь ты меня уж и видом своим дивным. Гляжу — что за диво: молодец молодцом, а с коня, ровно куль соломенный валится, небось все звезды счесть успел.

— Все не все, красавица, а пару таких увидел, что диву дался: горят они не на небе высоком, а под бровями густыми соболиными. Кабы светили всю жизнь они — не надоело бы на них глядеть.

— Смотри, витязь, не давай зароку на век воду пить — отяжелеешь, на коня не влезешь — будешь век с раскрытым ртом ходить!

С этими словами пригожая озорница повернулась и пошла, слегка нагнувшись под тяжестью полных ведер.

— Что, княже, аль сбила лебедь сокола? — усмехаясь, спрашивал старый Наян, догнавший один из всей дружины Игоря. — А ведь, правда, пригожа наша Ольга?

— Кто эта девушка? — спросил князь, сильно покраснев. — Такой красоты я еще в жизнь мою не видывал!

— Знаю, знаю, княже! Простого она роду, а хоть бы и княгиней быть — по стати, да по разуму. Отец ее у дяди твоего во дружине был. Как ходили против косоогов — уж занес было недруг меч над князем сзади, да не выдал князя верный слуга, подставил под удар свою грудь. Сирота она теперь круглая. Вот бы, князь, кто твою печаль разогнал. Она и работница, и песенница, разумом — старику не уступить, а по смелости — и молодому витязю. Еще подростком медведя на нож приняла, как сломал он лапой отцовскую рогатину. Видел метку у ней за правым ухом. Это ей медвежий гостинец на память остался. Что же, князь, хочешь, сватом пойду на старости лет? Авось она со мной обойдется поласковой. Давно я на богатой свадьбе не пировал.

— Наян! Родимый, помоги мне в этом, что хочешь тебе сделаю!

И Игорь обнял старого своего пестуна.

— Ну, слушай, княже, да на ус мотай. Видел я, как красавица на тебя поглядывала. Собирай-кось дружину, да въезжай во село честь честью, как князю полагается, а я тем временем заверну во двор к ней. Чай помнит она меня — не раз с отцом ее хлеб-соль я водил.

Витязь пришпорил коня по улице села, а князь, покачав головою, подседлал коня и поехал, задумавшись, по направлению, где вдалеке скакала отсталая дружина.

Весел пир идет над Днепром. Празднуют великое ликованье — свадьбу молодого князя Игоря. Все кияне — стар и мал — высыпали



на берег. Светел лицом радостный князь, светла красавица молодая жена его. По правую руку его сидит дядя его, славный Олег-князь, по левую — Наян-богатырь, что сосватал князя. То и дело обходят ковши, полные пенным вином да медом, столы, то и дело поднимают здравницы за князя с княгиней. Внизу у синего Днепра веселится дружина. Вот тридцать молодых юношей стали в ряд на борзых конях. Полетела стрела, пущенная самой княгиней — и кони, как стрелы, ринулись за почестливым выигрышем.

— Гляди, княже, твой Вороняк после той скачки как ни в чем не бывало. Вишь как вымахнул вперед всех. Эге, никому уж и гнаться не стоит. А и молодчина Мал, удало конем правит, — говорил старый Наян, видя, как отрок на подаренном ему Игорем горячем скакуне опередил всех в погоне за княгининой наградой.

Вот он уже достиг того места, где упала стрела, и под одобрительный ропот всех наблюдавших за ним, повиснув вниз головой на одном стремени, ловко подхватил лежавшую на земле золоченую стрелку. Затем, счастливый удачей, покраснев, подъехал ко княжьему месту, и, склонясь на колени, принял из княгининых рук ковш почетный: поклонясь князю низко, сказал он звонким голосом: «Здрав буди, княже! — отпил половину; затем также поклонясь княгине, промолвил: — И тебе, княгиня, на многие годы здравье да счастье, красу да любовь!» — и осушил ковш.

Внизу зашумели в ответ приветственные клики: «Здрав буди, княже со княгиней!» — «Живите на радость!» — «Совет да любовь». Князь и княгиня встали, поклонились дружине, и в ответ проговорили поочередно: «Здравствуйте, вои, многие годы!»

— А что, княже, — промолвил Наян, улыбаясь, — плохой разве у нас лов был? Гляди, какую лебедь живехонькой привезли. И попомни мое слово — помогать тебе она будет. Великие дела за ней вижу! — Тут лицо старика просияло, и голос окреп. — Будет княгиня Ольга славна во потомстве. Будет земля русская тверда ее мощью. Здравствуй, княже, здравствуй и княгиня! Не поймать тебя черным воронам — лебедь белая! Пусть этот пир станет пиром земли русской, что процветет твоим лугом на долгие века!

Внизу уже разложили костры — и алое пламя высоко поднималось в вечеряющем воздухе, освещая прекрасный лик мудрой княгини, чьею мощью положилось начало величия Русской земли.

## ЛОВЧИЙ РОГ

## Как Владимир один на Руси княжить стал

Тура мя 2 (раза) метала на розех и с конем, олень мя один раз бол (бодал), а 2 лоси, один ногами топтал и другый рогама бол (бодал). Вепрь ми на бедре меч отнял, медведь ми у подклада (потник под седлом) колена укусил, лютый зверь (волк) скочил ко мне на бедра и конь со мною поверже: и Бог неврежена мя соблюде (сохранил).

*Из завещания Владимира  
Мономаха*

## I

— Сколько раз говорил тебе, чтоб ты без спросу не смел со двора отлучаться. Аль у тебя волосья отросли больно длинные? Вот сниму кафтан и засажу за прялку, чтоб соседи пальцем указывали, тогда, может, бросишь баловство свое! Этого, что ли, тебе хочется?

Так говорил витязь Свенельд ослушнику-сыну, стоявшему, потупясь, у порога горницы.

— Говори, где был пятеро суток? Небось, опять в Княжем острожке медведя караулил?

— Не, батюшка! Я на Журавкином клину турицу обошел, полуторы суток гнал, — больно жаль было бросить! А и турица важная! Глянь-ка на шкуру: вся без отметин гнедая.

— Наш пострел везде поспел. Вишь, куда его занесло, — ворчал, скрывая под усами улыбку, Свенельд. — Ну, иди, умойся, да другой раз не вздумай ходить на лов не спросясь. Посидишь в клети на сухом хлебе у меня.

Лют — так звали сына Свенельда — тряхнул густыми русыми кудрями и мигом улизнул из горницы.

— Вишь, старый! — говорил он сам себе, — как будто сам дома сидит! Ну, да как ты не страшай, а ужотка доберусь до клыкастого, что в болото от меня ушел. Только бы батя колчан не отобрал — таких стрел нигде не добудешь.

Живо сполоснув холодной водой у ручного глиняного умывальника лицо, Лют прошел в столовую горницу.

Рога различных животных, убитых Свенельдом на охоте, украшали ее. Дорогое орудие было развешено на цветных коврах — добыча Свенельда в дальних походах. Свенельд был славный витязь при дворе малолетнего князя Ярополка. Еще старый князь Святослав, умирая, при-

казал ему заботиться о малом князе. И теперь все почитали его наравне с князем, зная, как тот слушает слова Свенельдовы. Угрюм и суров был витязь, и не любил его народ. Говорили в народе, что не добру он учит малого князя, привязанного к нему, как ко второму отцу. Но при всей своей суровости, Свенельд страстно любил сына. Никто из домашних не смел глянуть в суровое лицо Свенельда, почти всегда осененное изрубленным железным шишаком. Никто не смел подать голоса, когда насупливал он свои седые сросшиеся брови. И только Люту сходили с рук все его шалости и проказы. Лишь изредка журил он его, как и теперь, да и то дело всегда кончалось словами. Лют знал это и не очень боялся слов грозного своего батюшки.

Пройдя к столу, он наскоро принялся за студень, поданный заботливой «мамой» — его кормилицей. Та стала у порога, и, подперев голову рукой, начала жалобно причитать:

— Соколик ты мой ясный, дитяtko неразумное! Где ж тебя носила нелегкая пять дён? Али тебе хоромы тесны, али тебе есть-пить дома нечего, что рыскаешь ты, нудишь свои белые ноженьки? Да на то ли я тебя кормила, берегла от ветра-стужи, чтобы потратился ты по лесным балкам, да оврагам! Ой горюшко-горе...

— Не вой, мамо, — с досадой прервал ее Лют, — что ты, ровно покойника, меня отпеваешь. Приготовь-ка мне лучше чистые портни — вишь, как в болоте вымок. А я ныне спать ушел!

Сопровождаемый причитаниями мамы, Лют прошел к себе во светелку, увешанную духовитыми травами, с окошечком на Днепр, и, повалясь на медвежью шкуру, заснул крепким сном.

## II

Хороша прохлада<sup>20</sup> у Древлянского князя Олега. Земли его неезженные, леса да болота, много мест есть, где не ступала нога человеческая: есть, где укрыться всякому зверью и птице. Двадцать хортиц<sup>21</sup> иноземных прислал ему дядя Добрыня от имени младшего брата Владимира из Новгорода. Все как одна — красные, с белыми отметинами. Много коней быстроежных у него на конюшне, никто из его лучников не знает промаха, — а все мало князю Олегу. Завидки его берут на соколиную стаю киевского князя. Ну, уж и сокола же! Двенадцать — все на подбор, перо к перу подобрано, глаз красный, зоб острый, крылья по аршину на взлете! Долго задумывался о них страстный охотник, ан глядь и шлет ему Ярополк в рожденый день всю стаю с приветом.

Долго радовалось Олегово сердце, глядя на подарок, не знало, чем и отдариться. Послал он ему холеного жеребца своего, что шестеро конюхов на шелковых поводьях удержать едва могли, а все в долгу себя

<sup>20</sup> Утеха, охота.

<sup>21</sup> Борзая собака.

чувствует. Вот и сегодня выехал князь в поле: за ним двенадцать сокольничих — все в белых кафтанах, зелеными поясами перетянуты. Уже много журавлей да сизых утей у седел наторочено. Уже день к вечеру склоняется. Трубит князь на дома ворочатися. Собралась его малая дружинка, едут тихо — кони за день приустиали. Только княжий конь не знает устали — знай себе танцует под седлом ковровым. Опредил князь дружину, поспешает домой. Хоть и хороша была охота, недоволен он, и хмуро его лицо: видел он на своем княжьем путике алую кровь, по следам вепря пролитуую. Кто бы это охотился? В дружине сказали ему, что видели удалого молодца в богатой одежде, проскакавшего вдаль. Свенельдичем называли его. Мрачную князь думает думу. Значить, он уж не страшен и в своей волости, когда чужие холопы на его путиках княжьих не боятся зверя ловить. Куда же брат смотрит? Не добро брат деет, что слушает того Свенельда, как няньку любимую: так, пожалуй, и шапки ломать не станут Свенельдовы дети перед княжьими хоромами.

Вдруг острая боль в ноге прервала раздумье Олега. Медью опраренная стрела, жужжа, впиалась ему в колено. Вслед за тем, ломая ветви и тяжело сопя, мимо князя пролетел раненый вепрь: кровавая пена летела с его ощерившейся пасти. Вслед за ним на сером коне промелькнул стройный всадник, с бердышем у бедра, держащий на скаку натянутый лук с новой стрелою. Княжий конь шарахнулся в сторону, а Олег, вне себя от гнева и боли, выдернув стрелу из колена, повернул коня и бросился в погоню за дерзким витязем.

— А! — прохрипел сквозь стиснутые зубы Олег, — так вот какие на Руси обычаи повелись. Уж князей, что кабанов, стали стрелами метить. Постой же ты, молодец...

И вытащив из кожаных ножен свой двуострый, тяжкий меч, князь ударил плашмя им по крупу коня. Могучий скакун взвился на дыбы, и, как птица, бросился вперед. Расстояние между ним и Лютом стало быстро уменьшаться, и когда Лют обернулся на звук копыт, он увидел яростный лик Олега, высоко поднятую руку с занесенным над ним мечом.

### III

То не вешние воды по Древлянской земле разлились, то не туман над нею собрался, — разлились по ней Ярополковы рати, киевские копья зачернели. Гонит Ярополк брата своего Олега, как пес зверя.

Не добру научил тебя, княже, Свенельд суровый. Распалился он на Олега за милого сына, посеченного мечом княжеским. Долго молчал Свенельд, черную думу думал. Стал под конец смущать Ярополка угрозами:

— Князь-надежа! — говорил он ему, — недоброе против нас замышляют древляне. Везде точат мечи на твое княженье: уже хвастают,

что нет Киевского князя, а есть бабий повойник, что придут в Киев ко-ней ковать на дворе на княжеском.

Долго крепился Ярополк, да привык больно к своему советчику. Забрался в его сердце страх да гнев, и решил он поучить маленько дерзкого древлянского князя-брата. Собрал полки и пошел на него.

Только горькое ученье вышло Олегу. Не ждал он удара от брата, не собрал большой рати, и в первом же бою был разбит со своим войском. Бежал он, гонимый, в глубину земли своей, и не от врагов погиб, не мечом убит: как столпилась дружина на мосточке у Овруча — показала на берегу сильная Ярополкова рать, бросилась дружина наутек, смяла князя, потоптала копытами конскими на смерть. Горько плакал Ярополк над телом милого брата, — не хотел он его смерти, да и чуяло его сердце, что не пройдет ему эта смерть безнаказанно.

И так стало. Распался Владимир на Ярополка за смерть Олега. Повел полки из Новгорода великие. Начался бой на Руси междуусобный.

И Ярополку, как Олегу, не довелось на честной сече сложить свою голову. Пронзили его два варяжские меча под мышки во время перемирья, и высоко подняли загубленного князя на воздух.

Таков был страшный лов, что устроили князья русские друг на друга. Но скоро стало после этого затишье — стал Владимир княжить один на Руси. А все еще вспоминается то тяжкое время, когда жизнь человеческая была как жизнь зверя, преследуема охотниками и отстаивающего ее до последней капли крови.

*Асеев Н.* Ловчий Рог. Как Владимир один на Руси княжить стал // Проталинка. 1914. №9. С. 550–556.





— Понравилась, деду, очень. И просил бы я вас рассказать мне что-нибудь про старинные годы. Бедна стала память человека. Все-то он помнит про свои дела да хозяйство; а как придет беда всему народу — и рад бы припомнить старину, чтоб из давних дел получить указания да примеры, но нет памяти у многих. Как туман застилает глаза, и не видишь ничего, кроме своих стен привычного дома. Расскажите ж, деду, будьте ласковы, поделитесь памятью с нами.

Старичина ласково уже смотрел на меня, и, разгладив седые усы, промолвил:

— Вот и молоды вы, паночку, а речь у вас словно писаная льется. Такова ли моя стариковская, что по каплям, словно дождь в засуху, течь боится. А слышу в ваших словах не одну пустую думу: «Дай-ко, дескать, послушаем от скуки, что старый наврет». Ин быть по-вашему, вспомнилась мне одна стародавняя быль, либо сказка, как кто рассудит, про незапамятное время. Расскажу я вам ее, да прошу не смеяться, а и рассмеетесь — не поверите, все одно, упадет она вам в сердце, захотите и другие узнать. Быль та пришла мне на ум, оттого что спросили вы про песню мою. Вот про нее я и расскажу вам, что вспомню, что слышал, что знаю.

## I

Ой, выются костры по-над сумерками. Высоки костры, жарок огонь. А выше костров скачут парами люди неизвестные, как в сказке. И жарче огня горят щеки, порумяненные весельем. Вот весело! От топота ног дрожит земля — клонятся цветы полевые! Ой, весело, вот уж точно, что весело. Шутки, песни, пляски да присказки. И обвиваясь широкой лентой вокруг цветов да трав, как вокруг густой косы полянской девушки, перезванивает струями — течет Гопла-река. Ой, весело, вот так уж точно, что весело! А вокруг реки сидят люди мудрые сивочубые — думают думу великую, посошками реку перегораживают — не теки ты, Гопла-река, не мешай ты плеском думе великой сивочубых людей. Ой-ой, как весело! Да тонки посошки, не сдержать реки, понеслась она, покатила, думу великую уносила.

И встали люди мудрые сивочубые с бережка, подходили к кострам — и веселье ж там! Вмиг все остатки думы как рукой снялись. Взялись старики за руки — повелось стариковское коло около костров высоких, жарких, частых. Разве не весело?

Зачем же собрались люди, молодые и старые, и что за веселье у них, когда Морана<sup>23</sup> то и дело напускает черные свои ветры на полянский люд? Того веселятся поляне, что нынче ввечеру будет у них князь

---

<sup>23</sup> Мораной — у древних наших предков — звалась богиня Смерти в противоположность богине Весне.

молодой. Как ни думали, как ни гадали старики — никого не придумали, и порешили так: все люди меж собой родны — из какого роду князя ни выберешь — все тот род будет над другими властвовать: лучше же выбрать себе властелина не по роду, не по отечеству, а по силе да проворству первого.

И собрались ныне на большое полюдьё разного дела люди: и богатые гости, и простые купцы, и черный народ, и ремесвенники, мытники и метельники, мостники, городники и других ремесел дельцы. Собрались, разложили костры, заварили брагу, веселятся заранее, что не будет дольше у полян бескняжья: решено на совете старшин быть бегу великому, и кто добежит вперед до княжого места — тому на него и сесть.

Вот уж стали в ряд добрые витязи, Олешко, Мешко, Переяславко из Гнезны, Субручай-Сташо, красноволосый из-за Лабы, Лешко из-за Гоплы, и много других, славящихся разумом, силой, удалью. Далеко на три версты зажжены на пути костры, стоят около них наблюдники — люди, следящие за правильностью славного бега. В лад, в лад прихлопывают в ладоши все стоящие около начала состязания — большого костра. В лад, в лад несется тихая песня, тут же сложенная на славу будущему князю полянскому:

Стяни пояс туже,  
Стряхни кудри ниже,  
Повей, повей, друже,  
К ставке княжей ближе  
Золотой бородою.  
Пождем мила брата  
К темным коновязям:  
Зовем солнце — млада  
Величати князем —  
Золотой бородою.  
Те светлые ноги  
Прославляти струнам,  
Что сборят дороги  
С великим Перуном  
С золотой бородою!

В лад неслась песня, и в лад ей подтопатывали стоявшие в ряд побежчики. Как кончилась песня — хлопнул большими бичом старший жрец — и звонкий топот пролетел мимо стоявших неподвижно полян: то полетели полянские соколы добывать себе славы. Широкий круг обежать нужно. Вот впереди всех несется молодой Мешко Головастый, за ними Переяславко, за ними Лешко, и много еще легких, быстрых молодцев. А у костров нет толков да пересудов — все ждут воли Перуна,

так как знают, что не по силе и резвости, а по решению богов дается им нынче к утру званый князь, и только тихо напеваемый призыв нарушает тишину ясной весенней ночи.

Пождем мила брата  
К темным коновязям.  
Зовем солнца — млада  
Величати князем.

## II

Лешек бежит не торопясь, он знает, что сгоряча потраченные силы — не вернешь потом. Не раз он бегал по следу зверя, и знал, что в беге победишь не горячностью, а упорством да расчетом. Потому он и пропустил вперед себя до двадцати соперников, зная, что потом они сами будут уступать ему места один за другим.

Бежит он по незнакомым местам — только костры ему путь указывают — сам Лешек здесь редко бывал. Сирота — без роду без племени — приютил его из жалости дальний люд — Лешек рано привык к лесной стороне: там он учился пению у славки, силе у медведя, хитрости у лисы. И многие тайны леса открылись ему: знал он, где растет какая трава, где ручьи поют звонче, где цветы цветут краше. И бродил он в тишине лесной, пока не случилось с ним дивного дела.

Раз, сидя на прогалинке и крутя путы для ловли птиц, слышал он в стороне странный шум. «Кому бы быть в такую глушь? — подумал Лешек. — Здесь и знающий человек запутается!» И только что оглянуться успел, видит пышный поезд во много коней. И перед поездом тем — многолетние дубы, как тростник перед ветром, расклоняются. Дивен впереди едет витязь: высок, плечист, головач, черноволок, черноглаз, борода золотая, в правой руке лук, в левой — колчан со стрелами. Едет он не на коне, а в колеснице — и колесница та горит, как огонь. За ним ведут коня рыжего на шести поводах изукрашенных, во лбу у коня самоцветный камень, подковы коня золоченые. А за тем конем два других — потемней мастью — второй в серебряной уздечке кованой, а третьего на черной ременной обротке ведут люди печальные. А за теми конями многое множество всадников ведут на цепочках — что бы можно подумать? — мышей полевых маленьких. И ужаснулся Лешек чудному тому поезду, да встал во весь рост витязь и головой коснулся облака. Простер он долонь на восток, и прыснули стрелы, как зарево, из-под тугой его тетивы. Громовый голос пронесся над деревьями: «Беги княжить, беги княжить: кому тужить — тебе княжить!»

Неведомая бодрость наполнила его грудь. «Кто ты, господине! — воскликнул он, сам дивясь своей смелости. — Что мне вещает приход твой?» И вновь приподнялся витязь с колесницы и, пустив стрелу,

пророкотал: «Беги за стрелой!» — и рыжий жеребец, порвав шесть шелковых поводов, подлетел к Лешку и грянул перед ним на колени. Лешко схватился за холку, легко перекинулся на его лоснящуюся спину — и уж не помнил, как был вынесен с той полянки из леса далеко на рубеж полянского люда. Здесь конь стал, как вкопанный, и Лешко, сошед с него, набрел на веселье полян.

Узнав, что вызываются охотники, по воле богов, обежать славный круг, Лешко выступил из толпы, и, потупясь, объявил о своем желании испытать жребий. Никто не усмехнулся, глядя на бедного пастуха, никто не спросил его о роде и подвигах, ибо каждый из полян полагал, что боги не позволят поперечить своей воле. Так и очутился Лешек молодой на кругу костров меж знатнейших молодцев полянских — бедный, никому неведомый сирота.

Летят кусты мимо, гремит земля под ногами, бегут охотники испытать судьбу. Только чувствует Лешек, что нога у него занемела — невмочь бежать ему больше. Вот еще пробежал немного — и совсем стало невмочь — подкашиваются ноги, дрема сводит веки, земля манит спину: лечь да забыться немного. И хочет Лешек двинуть плечьми — согнать истому и чувствует, что плечи как веревками связаны. Опутаны они крепкой силой, что клонит его к сырой земле. Вот уж он лежит посреди поля — и поле то ему ведомо: солнце греет по-летнему, и видит Лешко издали, как плывет к нему будто по воздуху дивен город богатый: глядь-поглядь, княжьи хоромы отворены, проходы сукном выстланы, а на площади народ говором, как пчелы, гудит.

Входит будто бы Лешек в те хоромы княжьи — а там во полу-пира: за длинными столами, уставленными зельями да яствами, сидит множество витязей, все пируют-бражничают; а середь стола, на большом месте сидит тот богатырь, что из лесу его послал на состязанье. Сидит он — также в правой руке лук, в левой — колчан со стрелами. «Перуне!» — хотел воскликнуть Лешек, но язык его одеревенел, и вместо того он только упал на колени. Но на этот раз грозен был Перун. «Иди к своим детям», — пророкотал он, и здесь Лешек увидел отдельно стоящий стол, без яств и напитков, не покрытый даже скатертью, за которым сидело более двадцати рослых витязей. Странно стало Лешеку! Какие же они мне дети, коли я моложе их, — подумалось ему. Но тут встал из-за большого стола витязь, светлый лицом, в богатом наряде, и, обратясь, сказал Лешеку:

— Здравствуй, первый князь полянский! Аль не узнаешь детей своих? Слушай же, я расскажу тебе, что случилось, пока ты спал.

По воле Перуна полянскому люду настала на время великая слава: богата и славна земля наша стала. Ты первый в княженьи умножил богатство, а сын твой — что справа Перунова места — по твоему следу о всех делах ведал. И был у него сын, и звался он Попель — его нет



меж нами в Перуновом пире. Прогневав Перуна, разделил он княжий стол на двадцать одно княжество. Вон его братья за столом небранным. А сын его страшный, тем же именем названный — не сядет вовеки в Перуновом пире! Прельщенный соблазном да завистью лютой, да жадностью верной — погубил он дядей, что сидят печально за столом небранным. Гляди, гляди, княже, гляди, гляди зорче, как их смутны лица, как их темны очи. Пришли они в гости ко старшему князю, к Попелю злодею.

Вот им стелют мягко, вот их поят сладко, напоив, доводят до смертного ложа. Не пили бы князи завистного сыта, не клали бы братья головы навеки. В том хмельном ли зелье, ядом замучёном, кралась злая доля полянского люда. Заиграла Гопла черными струями, потопила князей, помраченных зельем.

С той поры нет места Попелю злодею, точит душу зависть, жадность тело сушит. И приходят в Гнезно ко двору князеву два странника бедных — Перуновы дети. Прослышали люди про княжью радость: родился у князя сын, желанный долго. И на постриженье<sup>24</sup> собралися люды всего того края. И увидел Попель многолюдье в окна, и забилося сердце злобою великой. Думает он грозно: «Собралися толпы проходимцев-кметей. Али им сготовить досыта наестся!» Глядит — а в ворота, открытые настезь, два странника входят, заваяны пылью. «Еще что такое, — восклицает Попель, — куда нам с чужими, коль от своих тесно! Гоните их в спину, травите их псами, чтобы не заглядались на чужую радость!» И бросились злые послушные князю, и странников гнали и псами травили. Оле тебе, княже, злой завистник Попель — те странники были — Перуновы дети!

Вышли те от князя, гонимые злобно, и пошли по Гнезне<sup>25</sup>, от обиды плача. В то же время в Гнезне у бедного Пяста-земледельца с женой его Рженкой было веселье — постриженье сына. Увидал он странных, зазывал к пирушке, обласкал обиду, слезы лаской вытер. И по тайной воле грозного Перуна княжеские блюда со столов слетели, и спустились пышно в бедной хате Пяста.

Прослыхал то Попель, побелел от злобы, прибежал увидеть Перуново диво. И назвали Пяста сына Земовитом, и большое люду пированье было. А злоумный Попель прогнан был народом на далекий остров. Там-то темной ночью выбросила Гопла на отлогий берег потопленных

<sup>24</sup> В старину у язычников, вместо того чтобы крестить, детей постригали, то есть отрезали несколько прядей волос и сжигали с особыми заклинаниями. Обряд этот всегда сопровождался пышным пиром, на котором не было отказа в угощении никому, хотя бы и незваному гостю.

<sup>25</sup> Гнезно — древняя столица Польши. Как у нас раньше столицей был Киев, потом Владимир в Клязьме, потом Москва, для рода Рюриковичей, так в Польше Гнезно, потом Познань, и, наконец, Краков для рода Пястовичей.

дядей. Побежали мыши от тех тел холодных, был казнен там Попель великим Перуном. Земовит же славный стал народом править. И поляне стали сильны и могучи, только вечно будет им грозиться Попель.

Так окончил свою речь молодой витязь, и перед Лешком стали проходить князя и витязи, расходясь с веселого Перунова пира. Молодые и старые, веселые и печальные, проходили они длинной вереницей, и каждый склонял перед ним свою голову, приговаривая: «Здравствуй, первый князь полянский!»

Скоро вся горница опустела, и только Лешек да Перун остались в ней. Тогда поднял Перун тяжкий лук свой, и, натянув тетиву, ударил стрелой прямо в грудь Лешку. Пошатнулся тот — сперло ему дыхание в груди — и чудно поплыла в глазах горница, расширяясь ввысь и в стороны.

\*\*\*

Глядь, открыл он глаза — стоят перед ним люди сивочубые, длиннобородые, в пояс ему низко кланяются, а под плечи поддерживают двое дюжих молодцев. Что случилось с ним, не может припомнить он, кажется ему, что сон его дивный продолжается, но нет — это не во сне ветер шевелит его смоченные потом кудри, не во сне болит грудь от тяжкого дыхания, не во сне звучат голоса замирающей песни.

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!  
Есть князь, князь, князь —  
Светлоумный, резвоногий,  
Нам его послали Боги.

Ой ясь, ясь, ясь!  
Есть князь, князь, князь!  
Как твой первый бег,  
Буди быстр весь век.

Как ты всех опережал,  
Пред тобою кусты  
Под покровом тьмы  
Преклонялися.

А до нас добежал,  
Светлолик ты, —  
Пред тобою мы  
Рассмеялися.

Ой в пляс, в пляс, в пляс!  
Есть князь, князь у нас,  
Светлоокий, резвоногий,  
Нам его послали Боги!

— Здрав буди, княже! — говорят ему старые люди полянские, — люди тебе кланяются отныне как князю законному, по воле богов нам данному, упредившему в беге всех полянских юношей. Здрав буди, княже, многие годы, чтоб твой род, как цветы по весне, расцветал, чтоб твой год, как день без ночи бывал.

И введут к Лешеку рыжего горячего скакуна — точь-в-точь как в дивном, представшем ему в лесу видении. Садится и едет княжить первый полянский князь Лешек — впереди всех князей и королей польских по славянской земле, думая странную думу.

*Асеев Н.* Первый князь Полянский (Из польских летописей) // Проталинка. 1914. № 11. С. 712–724.

## СОКРОВИЩЕ ЖИЗНИ

Жил на свете один ученый человек, всю свою жизнь отыскивавший в земле разные чудесные вещи. Его комнаты были заставлены древностями, и он мог по кусочку зеленой заплесневевшей бронзы, найденной в чьей-нибудь могиле, узнать, какой народ и когда жил в этом месте. Такие ученые называются археологами.

Давно поросшие травой, каждую весну вновь зеленеющие курганы, пещеры заброшенные в ущельях гор — вот что считал он самыми драгоценными покаями, на которые не променял бы он великолепие королевских дворцов. И надо было видеть, как хлопочет он вокруг какой-нибудь старой могилы, как старательно счищает ножичком землю с куска проржавевшего железа, чтобы понять, сколько дивных сказок знает он о нем, сказок, которые никому неизвестны, кроме него самого.

А раскапывать такие курганы-могилы — дело трудное.

Как книга сгоревшая, но еще не развеянная в мелкий пепел, хранит на листах слова, которые можно еще прочесть, так и каждый такой курган хранит сказание такое хрупкое, что его можно разрушить одним дуновением, одним неосторожным прикосновением. Чтобы не повредить такого хрупкого хранилища, нужно кругом окопать возвышающийся холм и рыть эту канавку до тех пор в глубину, пока не встретится старая поверхность земли, на которую был набросан холм. Ее узнают по остаткам травы и корней, которые сохраняются как бы поседевшими от времени — так в земле сохраняется все! Заметивши этот слой, нужно скрыть возвышающуюся над ним горку ровно-преровно; тогда будет ясно на земле обозначен четырехугольник, определяющий границы старинной могилы. Эта резкость обозначения происходит от того, что цвет не тронутой никогда земли непременно будет отличаться от цвета земли, когда-то взрыхленной. Тогда и начинается самое интересное. Осторожно, чтобы не разбить и не изломать сохранившихся вещей, раскапывают землю, и вскоре что-нибудь твердое звякнет о лом или лопату. То бывает или частью утвари, или оружием, которое в старину хоронили вместе с его обладателем, и вот, очистив от земли найденный предмет, узнают по нему, какого племени, состояния, занятий был погребенный много сотен лет тому назад. Конечно, человеку незнающему лучше не браться за такие раскопки, но часто и случайно находятся в земле чудесные вещи.

Ученый, про которого ведется рассказ, знал очень много. Звали его Вальдек, был он одинок и жил бедно, все свои деньги затрачивая на наем рабочих по раскопкам, на книги и самую малую часть на себя.

Однажды, путешествуя по незнакомой ему дотоле местности, нашел он старинный курган, суливший своим видом богатые открытия. Радо-

сти его не было границ, когда от местных жителей узнал он, что по преданию в кургане этом закопан древний властитель, пришедший в эту страну войной и павший на поле сражения. Тотчас же хотел он приняться за работу, но, к его досаде, тотчас же возникли немалые затруднения: никто из окрестных жителей даже за большие деньги не соглашался идти на раскопки, говоря, что большие бедствия падут на голову того, кто решится тронуть хотя бы одним ударом заступа величавый курган. Напрасно доказывал им ученый всю неправду темного суеверия, напрасно указывал на выгодность заработка, предложенного им, все с сомнением качали головами и отходили, сказав ему, что вот уже много поколений хранит память о заколдованном кургане, и что выгодней всякой платы было бы запахать и засеять землю, однако же ничей плуг еще не трогал далеко вокруг кургана сочной травы, покрывшей густым ковром его окрестности.

Вальдек наконец решился сам начать работу, убедившись, что ему не сломить упорства сельчан. Его же упорство и страсть к изысканиям были не меньше их упорства — и вот однажды поутру, вооружившись необходимыми инструментами, он вышел на работу. Курган был очень велик, и одному человеку, на первый взгляд казалось, не под силу окопать его вокруг, тем более, что ученый был уже немолод. Но горячая привязанность к делу, а также и затронутое самолюбие, окончательно укрепили его в намерении. В первые дни он уставал до бесчувствия, и возвращаясь в нанятую поблизости избушку, едва успевал проглотить молока и хлеба, как глаза его смыкались сами собою. Поутру же, проснувшись, он едва мог двигать руками, так утомлял их тяжелый заступ. Но по мере того, как подвигалась работа, силы его прибывали, и мускулы укреплялись и привыкали к постоянному труду. Две недели потратил он на рытье канавы вокруг кургана.

Когда же добрался до старой поверхности, то решил, что должен отдохнуть и подкрепиться. Двое суток отдыха вновь ему вернули первоначальную горячность к оставленной работе, и еще через несколько дней весь купол кургана был срыт.

Множество бараньих и лошадиных костей усеивало всю площадь открывшейся земли. Это здесь совершались поминки, тризна, на могиле усопшего. Несколько стеклянных тусклых бусинок и монеток свидетельствовали, что пир был роскошный и долгий, а вырисовывавшийся вслед затем контур великой могилы давал право предполагать, что здесь действительно сохранились интереснейшие находки, хранимые землей в течение многих веков.

Жители всегда далеко обходили место раскопок, боясь оказаться невольными участниками и даже очевидцами противного преданию дела, так что Вальдек работал совершенно один. Как-то однажды под вечер, уже раскапывая самую могилу, он присел на вывороченный из земли

камень, чтобы немного отдохнуть. Заря уже догорала, был тихий июльский вечер, но на востоке собрались седые зловещие тучи, перемигивавшиеся желтыми мгновенными вспышками.

Вальдек не знал, сколько времени он просидел в задумчивости, но внезапный холодок, потянувший за его спиной, напомнил ему о поздне-нем времени. Постепенно взялся он за лопату, чтобы до темноты поработать еще немного, но при первом же ударе лопаты глухой стон раздался из-под земли. Ученый, который вовсе не склонен был к суеверью, прислушавшись, снова начал работать, и новые глухие стоны были ответом на его усилия. Тогда, склонясь на колени, приподнял он на лопате несколько земли и увидел, как в глубине блеснул огромный золотой палец человеческой руки. Удивленный и восхищенный, начал с удвоенным рвением работать Вальдек, и постепенно обнажалась из земли фигура золотого витязя в шишаке и кольчуге, держащего тяжелый железный лук.

Вдруг окрестность вздрогнула от сотрясения — изваяние как бы потянулось, и золотые губы его зашевелились. Вальдек, отпрянув в страхе от него, услышал тихий, как шелест ветра, шепот: «Зачем ты пришел ко мне, незнакомец? Тысячелетний сон мой был крепок, крепче сна земли под снегами. Ты ли, имеющий сокровище жизни, — ищешь его в земле? Знай же, что за него я бы отдал тебе всю власть над миром, всё знание и мудрость многих человеческих поколений. Но ведь ты не отдашь мне его. Я слышу, как бьется оно у тебя в левой руке: положи мне его на уста — и ты станешь счастливец!»

Вальдек с удивлением взглянул на свою левую руку: в ней ничего не было, и он не знал, чего хочет от него золотое изваяние. Но снова раздался безжизненный шепот: «Ты не знаешь, о чем говорю я! Ты привык к радости жить, ощущать, не быть забытым. Прижмись теперь губами к своей руке, изнутри повыше кисти, и ты припомнишь о сокровище жизни».

Вальдек машинально поднес руку к губам, как сказал ему незнакомец, и вдруг внезапная, горячая, светлая радость потрясла все его тело.

В этот сумрачный вечер, наедине с золотым чудовищем, он вдруг почувствовал, как бьется и переливается в жилах его горячая, живая кровь. Пульс бился учащенно от усиленного дыхания Вальдека, и ему показалось, что он снова ребенок, запыхавшийся от быстрого беганья, от игры в пятнашки. Слезы текли по его лицу, и таким несчастным, жалким и бессильным представился ему золотой истукан, моливший его о «сокровище жизни».

Быстро поднялся он на ноги, чтобы покинуть это безжизненное сокровище, добытое им с таким трудом, и, пошатнувшись на ногах... проснулся.



Вечер совсем догорел. Тучи с горизонта совсем надвинулись над головой Вальдека, черная раскопанная земля еле-еле дымилась. Не оборачиваясь, пошел Вальдек к своей избушке, а на следующий день уехал отсюда навсегда.

В столичном городе много толков ходило о внезапном решении ученого Вальдека, пожертвовавшего свои драгоценные собрания древностей городу, и уехавшего, как говорили, в путешествие к Гробу Господню. А вскоре еще большие толки вызвала находка каким-то крестьянином золотого изваяния Перуна, старинного языческого бога славян, в одной из отдаленных губерний.

*Асеев Н.* Сокровище жизни // Проталинка. 1915. №4. С. 212–217.